

Ольга
Карпович



*« Узда...
нака...
са...
заст...
деву...
де...
а...
М...»*

Моя чужая жена



Annotation

Аля вышла за Никиту замуж, хотя любила его отца, знаменитого советского режиссера. Ситуация осложнилась еще и тем, что отец и сын оказались соперниками не только в любви, но и в профессиональном деле. Этим троим не ужиться вместе, но и друг без друга они тоже не могут.

- [Ольга Карпович](#)
 -
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [Часть третья](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)

- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
-

Ольга Карпович

Моя чужая жена

* * *

–Ой, а я вас, кажется, знаю. Вы случайно не артист? Где же я вас могла видеть?.. Ой нет, нет, не говорите, я сама вспомню! В «Ловушке смерти»? Или в «Пыли столетий»? Нет, не то... Ну надо же, из головы вылетело.

Объемистая румяная проводница напряженно вглядывалась в мое лицо, хлопая лазоревыми веками и морща широкий лоб. Я досадливо помотал головой, буркнул «вы ошиблись» и протиснулся мимо ее пышного, обтянутого синим форменным пиджаком бюста в коридор вагона. Однако отделаться от удалой железнодорожной киноманки было не так-то легко. Я шел к своему купе, она же семенила за мной, возбужденно приговаривая: «Обслужим, обслужим по первому разряду», суля какие-то немислимые яства — балычок, водочку, свежую икорку непременно. Наконец мне удалось нырнуть в щель своего двухместного купе и скрыться за оклеенной светло-коричневым пластиком дверью. Волоокая проводница сдалась не сразу, а продолжала еще некоторое время неуклюже топтаться в коридоре и бормотать:

–«Нечаянная встреча»? «Разлуке вопреки»? Эх, голова-то садовая, а...

Я бросил взгляд в прикрученное к двери тусклое зеркало, уныло оглядел собственную хмурую физиономию с накрепко пришитой гримасой божественной отстраненности и сказал отражению:

–Не зарастет народная тропа к тебе, Спилберг местного разлива.

Затем снял плащ, повесил его на крючок, сунул под полку небольшой чемодан и с силой потянул вниз ручку окна. Купе сразу же наполнилось звуками вокзала. Застучали каблучки по платформе, зашаркали колесики багажных сумок... «Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер сто сорок четыре отправляется с третьего пути», — гнусаво возвестил голос диспетчера, и взревел паровоз.

Запахло дымом, масляной смазкой, потянуло жареными беляшами из вокзального буфета. Прошли мимо окна, взрываясь хохотом, две раскрашенные девахи, протопал нагруженный чемоданами отец семейства, заспешил куда-то вокзальный служащий в форменной фуражке. Слабое осеннее солнце уже уползло за здание вокзала, сгущались сумерки, начинал накрапывать дождь.

Я сел на аккуратно застеленную полку и сдвинул в сторону занавеску, чтобы предаться любимому занятию — наблюдению за людьми. Что может быть увлекательнее, чем подслушивать, подглядывать, оставаясь при этом невидимым. Обрывки диалогов, сценки, жесты... И все мало-мальски необычные эпизоды отщелкиваются на пленку памяти и покоятся там до поры до времени, для того чтобы быть потом, при случае, отображенными на киноплёнке и... забытыми сразу после премьеры.

В окно вплыли нестройные, разбитые звуки аккордеона. Я заметил бредущего по перрону старика в старом обвисшем пиджаке с протертыми локтями. Этот жалкий музыкант, задевая орденские планки, растягивал мехи аккордеона, который, хрипя и фальшивя, выдавал старинное танго «Счастье мое, ты всегда и повсюду со мной...».

Неожиданно мне вспомнился отец. Вот он в ванной комнате нашей старой дачи бреется перед зеркалом — щеки в мыльной пене, играют мускулы загорелой широкой спины. Стоит и напевает себе под нос: «Ты всегда и повсюду со мной...» И мать — еще молодая, с темной косой вокруг головы, с удивительно яркими, живыми глазами, еще не затуманенными болезнью, помутившей ее рассудок. Мать идет мимо по коридору со стопкой выглаженного белья, останавливается и с глупой счастливой улыбкой смотрит на отца снизу вверх влюбленно и преданно. У влюбленных женщин вид всегда немного глуповат. Если любовь взаимна — это выглядит трогательно, если же нет — жалко и унижительно. Мать глядит в спину отцу, он оборачивается и спрашивает: «Тебе чего, Тонюша, вода нужна?» И она, смутившись, прячет глаза и поспешно уходит по коридору.

Я извлек из бумажника купюру, высунулся в окно и протянул деньги старику. Тот поднял на меня глубоко запавшие водянисто-голубые глаза, несколько секунд вглядывался в мое лицо, затем с королевским величием принял бумажку, сунул в карман пиджака и

зашаркал дальше по перрону. Аккордеон продолжал с хрипом повествовать об обретенном счастье.

Я посмотрел на часы — поезд должен был скоро отправиться — и вытащил из бокового кармана сумки книжку, купленную перед отъездом: Аль Брюно — какой-то нашумевший французский автор, недавний лауреат «Золотого пера», о котором, захлебываясь восторгом, кричали в последний месяц все журналы с претензией на интеллектуальность. И моя бессменная редакторша давно уже заседала на меня с этой книгой, чтобы я рассмотрел ее на предмет постановки. Что ж, придется посвятить ночь в дороге чтению очередной сводящей скулы зауми. На обложке романа, словно в насмешку, нарисована была кинокамера.

«Ну, мать твою, и тут!» — Я совсем приуныл.

В кармане пиджака завибрировал мобильный телефон. На экране высветился незнакомый номер. Какая-то бойкая журналистка, величая меня по имени-отчеству, непременно хотела услышать, что я могу сказать о только что завершившемся кинофестивале. Не нахожу ли я, что жюри необъективно? А как насчет зрителей?

— Послушайте, я сейчас не готов отвечать на ваши вопросы. Обратитесь к моему пресс-секретарю. Всего доброго, — оборвал я ее и раздраженно нажал отбой.

Интересно, как они умудряются добывать номера телефонов знаменитостей? Я лично обещал смертную казнь за разглашение этой строго секретной информации. И вот на тебе.

До отправления поезда оставалось минуты три, и я успел уже порадоваться, что поеду, видимо, один, как вдруг дверь купе с шумом отодвинулась и на пороге появилась девчонка, совсем юная — лет двадцати, — черноглазая, с коротким ежиком темных волос. Из-за отворота ее замшевого пиджака выглядывала мордочка щенка немецкой овчарки. Щенок явно жаждал свободы, рвался из-под пиджака всеми лапами, бешено сверкая на меня круглым блестящим глазом. Моя попутчица, одной рукой удерживая звереныша, другой пыталась впихнуть под полку небольшую сумку.

— Давайте помогу, — предложил я и протянул руку к щенку.

Тот ловко вывернулся и тяпнул меня за палец.

— Ух, какой, — усмехнулся я. — Как же тебя зовут, зверь?

—Тим его зовут, — с готовностью отозвалась девушка. — А я Софи, Софья.

Я тоже назвал себя. К счастью, моя фамилия была ей незнакома.

Девушка расположилась на соседней полке, устроила щенка в гнездышке из подушек и охотно принялась рассказывать мне, кто она, откуда и куда направляется. Догадка моя подтвердилась, моя попутчица действительно жила во Франции, правда, мать ее по происхождению была русская, эмигрировала из СССР много лет назад. Мне пришлось выслушать довольно запутанную историю о редакторе какого-то парижского журнала, где Софи работала внештатником («я там есть корреспондент»), который проводил какой-то конкурс, и вот Софи оказалась лучше всех, и ее направили в Питер на рок-фестиваль, и там некий юный музыкант, разумеется, настолько пленился ею, что подарил ей вот этого щенка в залог нержавеющей первой любви. Рассказывая, девушка строила милые гримаски, закатывала глаза, откидывала голову и поглядывала из-под ресниц, проверяя, произвели ли на меня должное впечатление ее чары. Забавно было наблюдать за этой начинающей сердцеедкой, только недавно, видимо, научившейся женским приемам и теперь применяющей их без разбора ко всем особям мужского пола, не исключая даже не первой свежести кинорежиссеров.

—А мамá мне говорит: «Куда ты поедешь? Ты этой страны не знаешь. Там тебе не здесь, ограбят, изнасилуют...» — бойко продолжала свою повесть Софи.

—Но вы, разумеется, ее не послушались и решили, что разберетесь со всем сами, — вставил я.

—Да. А как вы догадались, вы волшебник? — Софи распахнула черные глаза, пытаясь изобразить милую непосредственность. Это получилось у нее довольно успешно, лишь на миг блеснул в темной глубине хитрый озорной огонек и тут же спрятался.

—Помилуйте, Софья, кто же в вашем возрасте слушает родителей, — доброжелательно подколот ее я.

—Но вы не знаете мой мамáн, — заявила моя попутчица со свойственным юности апломбом. — Она отправилась в Россию за мной. Но ее в Москве задержали дела, и в Питере я оказалась одна.

—Знаете, Софи, вот вы сказали о матери... Вы очень напомнили мне меня в юности. О, как я спорил со своим отцом, как пытался ему

доказать свою правоту и не желал его слушать, и все мне казалось, что он пытается вылепить из меня усовершенствованную копию себя самого. Папа у меня был, надо признаться, человек известный... классик советского кинематографа, знаете ли, Софья... Сейчас о многом хотелось бы его спросить, да поздно уже...

Кажется, выступление мое получилось не слишком удачным. Софи чуть оттопырила нижнюю губу и, пожимая плечами, принялась горячо рассуждать о том, что оглядываться назад бессмысленно, что жить нужно здесь и сейчас. Я, признаться, плохо слушал, уже досадуя на себя, что зачем-то ни к месту разоткровенничался.

Я посмотрел в окно. Уже стемнело, едва виднелись пронесившиеся мимо деревни, полуоблетевшие деревья, голые поля. На стекле поблескивали тонкие штрихи дождя. Дальнейший разговор с Софьей вдруг представился мне настолько обыденным, неинтересным, будто я был знаком с ней уже не первый год, и ничего нового она поведать мне не могла. Дождавшись, когда девушка умолкнет, я потянулся к книжке.

—С вашего позволения я, милая Софья, почитаю немного, — улыбнулся я, открывая книгу.

Софи бросила быстрый взгляд на обложку, хмыкнула и насмешливо подняла бровь.

—О, я знакома с этим автором. Очень популярен сейчас. А по мне, так пустая болтовня и скука, — категорично заявила Софи. — А как вам, нравится?

—Пока не знаю, — пожал плечами я и перевернул первую страницу.

Часть первая

*...И вот опять, и вот опять,
Встречаясь с этим темным взглядом,
Хочу по имени назвать,
Дышать и жить с тобою рядом...*

*...Забавно жить! Забавно знать,
Что под луной ничто не ново!
Что мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово!*

А. Блок

Золотистый солнечный луч пробрался сквозь кружевную занавеску, прочертил полосу на крахмальной белой скатерти и весело запрыгал по застекленным фотографиям на стене. Домработница Глаша, немолодая полная женщина в темном сатиновом платье, тяжело переваливаясь, вошла в столовую и принялась обмахивать фотографии тряпкой, словно хотела стереть солнечные зайчики вместе с пылью. Одну из рамок она вытерла особенно тщательно, даже сняла с гвоздя и несколько минут подержала в ладонях, с улыбкой вглядываясь в изображение.

С фотографии смотрели молодой черноглазый красавец в летней рубашке с коротким рукавом, круглолицая улыбающаяся женщина с замысловато уложенными волосами и недовольный пятилетний мальчик в бескозырке, надвинутой на непослушные кудри.

Никитушка...

Как же, как же, сама сшила тогда ему бескозырку, уж так мечтал милый стать бесстрашным моряком, особенно после того, как посмотрел отцовский фильм о крейсере «Варяг». Ну и сшила ему матросский костюмчик, дура деревенская, еще и приговаривала:

– Морячок ты мой золотой!

И вот ведь что вышло. Поехали они летом в Гурзуф: и Дмитрий Владимирович, и Антониночка Петровна, и Никита маленький. Никита в первый же день бескозырку нацепил, расхаживает, красуется, а отец ему:

– Какой же ты моряк, если плавать не умеешь. Сегодня учиться будем.

Забросил ребенка в воду да и отпустил — выплывай, мол, как знаешь. Никитушка, конечно, захлебнулся, забарахтался, Антонина Петровна подбежала, вытащила его на руках из моря. Мальчик в слезы, а Дмитрий Владимирович ему:

– Что ты за мужик, чего разревелся?

И Антонине Петровне досталось.

– Сделала, — говорит, — из него мамкиного сынка, так и будет всю жизнь за твою юбку держаться.

Ох, лучше уж не вспоминать...

Глаша повесила фотографию на место, полюбовалась еще немного, склонив голову к плечу.

«Что и говорить, Дмитрий-то Владимирович уж такой красавец был в молодости, да и сейчас почти не изменился. Еще и покрасивше будет молодцев этих холеных, которых в фильмах своих снимает. И Никитушка в отца пошел, мальчик-картинка: широкоплечий, улыбчивый, на актера этого французского похож, как бишь его, Дина Рида, вот. Только лучше еще, лицо добрее. Эх, а Тонюшка-то сдала, конечно, сдала... Болезнь эта проклятая! Вот ведь беда!»

Глаша прошла к секретеру, стряхнула пыль с хрустальной пепельницы, сорвала страничку с отрывного календаря — 15 июля 1973 года.

Из кухни запахло подгорающим тестом, и Глаша бросилась к духовке. Женщина вытащила противень с румяными пирожками и накрыла их чистым полотенцем, чтобы не зачерствели. Ведь Никитушка сегодня приезжает, он любит с вишней. Как же можно не расстараться к приезду мальчика, целый год ведь в отъезде, домашней еды не видел.

Глаша взглянула на часы. Стрелка подползала к девяти. Домработница живо влезла на приземистую деревянную табуретку, достала из подвешенного почти под потолком аптечного шкафчика таблетки и принялась аккуратно выкладывать их на блюде. Синенькую, две беленьких и желтую... Это для Антонины Петровны.

— Ох бедная моя, бедная, — по устоявшейся привычке бормотала Глаша себе под нос, наливая в высокий чисто отмытый стакан воды из графина. — Что уж тут говорить, несчастье, конечно. И всегда она была нервная да впечатлительная, даже и в молодости. А годы-то идут, да и жизнь с Дмитрием Владимировичем не сахар — горячий он человек, резкий, крутой. Опять же известный, знаменитый кинорежиссер. И актриски эти так и виснут на нем, бесстыжие. Ну что уж говорить, дело знакомое. Тоня, бедняжка, так убивалась, так страдала. Сидит целыми неделями одна, а муж-то где. Муж там где-то снимает!

Глаша неодобрительно покачала головой, поставила блюде с таблетками и стакан на поднос и засемила к лестнице, ведущей вверх, продолжая свой привычный монолог:

— Да и люди приходят разные, и оттуда тоже бывают, из этого, Комитета безопасности. Как первый раз Дмитрий Владимирович за границу должен был ехать, так и явились, тут как тут. А она, сердешная, так дрожит за своего Митеньку, так дрожит. Вот нервы и сдали. Все плакала, потом заговариваться стала, потом доктора, больницы. Теперь вот таблетки глотать каждое утро. Эх, что говорить, что говорить... Бедная женщина...

Глаша на ходу бросила взгляд в приоткрытое окно. По дорожке, ведущей от деревянных резных ворот к дому, шел Дмитрий Владимирович, хозяин. Высокий, статный, черные, почти нетронутые сединой волосы касаются воротника белой рубашки, лицо открытое, спокойное, загорелое, а глаза веселые, темные, цыганские, как Антонина Петровна говорит. А с ним рядом гостя какая-то — молоденькая совсем, тоненькая, в белом льняном сарафане, ну что твой солнечный лучик!

«Интересно, кто такая?»

Дмитрий что-то рассказывал ей, указывал рукой на дом, девушка внимательно слушала, изредка поглядывая на Редникова, задавала какие-то вопросы.

«Ох, стол-то я к завтраку еще не накрыла, надо поторопиться», — спохватилась Глаша и заспешила вверх по лестнице.

Аля жила в Москве уже четыре года. Она приехала из Ленинграда и поступила учиться в Литературный институт на отделение очерка и публицистики и, в общем, считала себя все повидавшей, воспитанной жестокой столицей очеркисткой. Однако предложение мастера ее творческого семинара Ковалева Алю поначалу смутило.

— Вы ведь, Аленька, готовите серию публикаций о современном советском кино, — разглагольствовал Ковалев, постукивая кончиком ручки по деревянному столу. — Неужели не интересно вам познакомиться с самим Редниковым Дмитрием Владимировичем, главным его, кинематографа нашего, так сказать, светочем? Побеседовать? Может быть, даже побывать на съемочной площадке? Этот материал для вашей будущей дипломной работы оказался бы неоценим...

— Конечно, — кивнула Аля. — Но интервью... Как-то неожиданно. Я ведь не на журфаке учусь...

— Впрочем, вы, может быть, так сказать, робеете... Все-таки человек такого масштаба... — хитро прищурился Ковалев.

И Аля тут же взвилась, воспрянула духом:

— Нет, почему же? Я с удовольствием. Когда можно с ним встретиться?

А про себя подумала: «Робеете, как же... Ха!»

И вот теперь она ехала в Подмосковье, где ее — по предварительной договоренности Ковалева — должны были встретить и проводить на дачу «самого Редникова», титана современного советского кино и личность небывалого масштаба.

Аля попыталась представить себе, что ее ожидает. Должно быть, «светоч» вышлет на станцию какого-нибудь подобострастного секретаря, тот проводит ее в пыльный прокуренный кабинет, где за массивным столом над кипой бумаг будет возвышаться герой очерка, напыщенный морщинистый бронтозавр, увенчанный благообразными сединами. «Что же вам рассказать, деточка?» — протянет он дребезжащим тенорком и начнет живописать ценность «главнейшего из всех искусств» для построения коммунизма.

«Брр... — Аля передернула плечами и решительно откинула спадающие на лоб светло-русые волосы. — Что ж, придется выдержать, раз уж я зачем-то ввязалась в эту историю».

Электричка, весело присвистнув, остановилась, тамбур наполнился гомонящими и толкающимися бабками в платках и с корзинками. Они оттеснили Алю от двери, посыпались на платформу, ворча и переругиваясь. Девушка вышла последней, огляделась. В воздухе сладко пахло цветущими липами, в глаза било солнце, и она, сощурившись, не сразу разглядела направившегося к ней от выкрашенного желтой краской здания станции высокого загорелого мужчину.

«Кто бы это мог быть? — недоумевала Аля. — Молодой, может быть, чуть за сорок. Секретарь? Да нет, не похож... Кто же?»

— Привет, — просто поздоровался незнакомец. — Вы, наверное, Александра?

Он смотрел на нее открыто, черные глаза будто бы чуть подсмеивались, но лицо оставалось серьезным. Мужчина протянул раскрытую широкую ладонь и пожал ей руку. Аля ощутила исходящий от него запах — аромат терпкого, заграничного наверное,

одеколону, свежесглаженной рубашки и еще чего-то, может быть, горячего летнего солнца.

И ответила почему-то вдруг осипшим голосом:

– Да, Аля, здравствуйте.

– Здравствуйте, Аля, — улыбнулся мужчина. — Я Дмитрий Владимирович. Очень приятно. Пойдемте, провожу вас к нам.

В конце платформы, у лесенки, ведущей вниз, им повстречался дышащий перегаром мужик с дребезжащим аккордеоном поперек груди.

– Девушка! — взревел он. — Барышня, красивая вы моя, помогите рабочему человеку на опохмел.

Аля, чуть отвернувшись от просителя, сунула руку в висевший на плече холщовый мешок. Чтобы раздобыть себе эту очень модную — хиппи-стайл — сумку, она записывалась в очередь на «посмотреть иностранный журнал мод», полночи снимала выкройку, а потом все пальцы исколола, пришивая бахрому. Аля достала из сумки кошелек и протянула мужику 10 копеек.

– Покорнейше благодарим, — гаркнул он и сунул монетку в карман пиджака.

– Благотворительностью увлекаетесь? — покосился на нее Редников.

– А вы нет?

– Нет, — отрезал он. — Не терплю! Каждый сам за себя в ответе.

«Вот это и есть в нем главное, — попыталась сосредоточиться Аля. — Уверенность. Не самоуверенность, а устойчивая, непоколебимая убежденность в своей правоте. Наверное, с этого очерк и начну...»

Дмитрий Владимирович спустился по ступенькам и обернулся к Але.

– Нам вот эта дорожка нужна, пойдемте. — Черные глаза улыбнулись.

«Необыкновенные глаза, — подумала Аля. — Бездна спокойствия и уверенности в себе. Но, если взглядеться в них, нет-нет да и сверкнет на самом дне какая-то бесовская искорка, вечно ускользающая саламандра, и сразу же спрячется куда-то. Что же вы за человек такой, режиссер Редников? Смотрит вдаль, как цыган, размышляющий о

предстоящем кочевье. И столько упрямой силы в глазах. Цыган. Цыганский барон...»

И Аля двинулась за ним по вымощенной плитками дорожке, ведущей в глубину дачного поселка.

Завтрак был накрыт на веранде. На деревянном полу лежали узорчатые тени от резных ставен, в вазе на подоконнике клонились в разные стороны ромашки, васильки и тяжелые янтарные колосья ржи. На столе, застеленном накрахмаленной скатертью, блестели чисто вымытые стаканы, сверкала металлическим боком серебряная сахарница, золотилось масло в хрустальной масленке. Тонко нарезанные ломтики хлеба, домашнее варенье в вазочке, тягучий солнечно-желтый мед.

Але после четырех лет в общежитии казалось, будто она вернулась в детство, неожиданно попала домой. Впрочем, какое детство? Дома, в Ленинграде, мать, учительница литературы и одновременно бессменный школьный парторг, вечно спешившая, занятая, никаких сервированных столов не устраивала, глотала что-то на ходу, не отрываясь от написания очередной речи к грядущему партсобранию. Да и вообще все намеки на домашний уют считала буржуазной пошлостью. Аля же обычно обходилась бутербродом, жевала, сидя на подоконнике, запивая кефиром из бутылки. Может быть, оттого и ушел когда-то давно от матери отец, что в жизни у нее на первом месте всегда были партийные заседания, митинги и трибуны, на семью же не оставалось ни времени, ни сил, ни, как подозревала Аля, желания.

Рядом с Редниковым села, уставясь в тарелку, Антонина Петровна, его жена, которой Дмитрий успел уже представить Алю. Тоня, женщина с усталым, болезненным лицом, с забранными в высокую, но почти развалившуюся прическу седыми у корней волосами, одетая в длинный светлый халат, произвела на Алю странное впечатление. Непонятно было, почему у молодого Редникова такая невзрачная, рано постаревшая жена. Странно было ее поведение — сидит опустив глаза, в разговоре не участвует, но вдруг вскинется, бросит настороженный, тревожный взгляд вокруг, словно не понимая, где она находится. Удивительным было и обращение Редникова с женой — почти не смотрит на нее, а если обращается, то с привычной

снисходительностью, как к больному ребенку: «Верно, Тонюша, так ведь?»

Неожиданно во дворе заворчал мотор автомобиля, Тоня встревоженно вскинулась, домработница Глаша бросилась к окну и, всплеснув руками, вскричала:

– Антонина Петровна! Дмитрий Владимирович! Приехал, приехал! Никитушка приехал!

Застучали шаги по деревянной лестнице веранды, и в дом влетел молодой симпатичный парень в модных расклешенных джинсах и кепке, надвинутой на вихрастую голову. Парень с размаху обнял Глашу, приговаривая:

– Ах ты, моя пампушка!

На плече у него уже повисла Тоня, причитая и всхлипывая:

– Сыночек мой, Никитушка, воробушек...

Редников хлопнул сына по плечу:

– С приездом! Ну как ты, рассказывай!

Тоня же, испуганно оглянувшись на Алю, громко зашептала:

– Молчи, молчи, Никитушка, ничего не говори. Они повсюду. Девку свою шпионить прислали. Но меня-то им не провести!

Аля так и вздрогнула от ее слов: «Кого шпионить прислали, меня? Она что же, сумасшедшая, эта Антонина Петровна?»

Никита растерянно посмотрел на мать, оглянулся по сторонам, увидел Алю, застывшую с чашкой в руке, оглядел ее цепко, оценивающе. Девушка, ощутив его пристальный взгляд, сдвинула брови и отвернулась.

– Ну что ты, Тонюша, перестань, — вступил Дмитрий Владимирович. — Дай нам с сыном хоть поздороваться.

– Мамулечка, ты у меня молодец! — отозвался Никита, высвобождаясь из объятий матери и подходя к отцу. — Здорово, бать!

Редников обнял сына и тут же ловко сделал ему подсечку, от которой Никита, потеряв равновесие, с размаху шлепнулся в кресло.

– Бать, ну вот, опять твои штучки, — обиженно загудел Никита, покосившись на Алю.

Она же довольно ухмыльнулась: «Что, сбили с тебя спесь, юноша в кепке?»

– В Сорбонне своей совсем спорт забросил, — продолжал добродушно подкалывать сына Дмитрий. — Кепку нацепил... Богема,

тоже мне...

Никита покосился на отца с плохо скрываемым раздражением, криво усмехнулся:

– Кто-то же должен быть классово чуждым элементом, чтобы вам было против кого борьбу вести.

Он выбрался из глубокого кресла, прошелся по комнате, хмуро поглядывая на отца, отодвинул плечом Глашу, топчущуюся около него с блюдом пирожков:

– Попробуй, Никитушка, твои любимые, с вишенкой, я специально к твоему приезду...

Наконец остановился возле Али, снова уставился на нее с нагловатой усмешечкой, однако теперь как будто еще и с вызовом — мол, мы еще посмотрим, кто тут в доме хозяин.

– Гостья? Бать, познакомь!

– Аля, как вы, наверное, уже догадались, этот обалдуй — мой сын Никита. Никита, это Аля, студентка Литературного института.

Никита склонился перед Алей в дурашливом поклоне, поднес ее руку к губам со смесью галантности и сарказма. Отец неодобрительно вскинул бровь:

– Поднабрался штучек парижских.

Никита поднял глаза, посмотрел на нее снизу вверх и подмигнул. Глаза у него были почти как у Дмитрия, разве что чуть светлее, а рот, наверное, от матери — яркий, смешливый. В целом сын Редникова был очень похож на отца — те же широкие плечи, горделивый поворот головы, лукавый прищур цыганских глаз. Однако чего-то не хватало в нем, какого-то неуловимого штриха.

«Забавный парень, — решила Аля и взглянула на стоявшего у стола Дмитрия Владимировича. — Забавный и... понятный. А вот его отец... Тут все не так просто...»

Никита, заметив ее изучающий взгляд, чуть оттопырил нижнюю губу, выпустил Алину руку и отошел в сторону.

Глаша принялась собирать со стола стаканы. Никита присел рядом с матерью, принялся негромко рассказывать ей о чем-то. Тоня, блаженно улыбаясь, гладила его по голове, перебирала спутанные волосы. Дмитрий Владимирович, насвистывая щемящую мелодию довоенного танго, вытащил из пачки папиросу, постучал ею о край стола, прикурил и обратился к Але:

– Ну что же, Александра, давайте пройдем в кабинет, вы зададите мне свои вопросы.

В этот момент во дворе снова заворчала машина.

– Еще кто-то пожаловал, — объявила Глаша, посмотрев за окно. — Никитушка, ты уже друзей позвал, что ли?

Парень привстал, отдернул занавеску:

– Мои друзья на черных «Чайках» не разъезжают. Это, бать, твои киношные бонзы, наверное.

Тоня неожиданно вскрикнула, вскочила со стула, опрокинув чашку, вцепилась побелевшими пальцами в край стола, остановившимся взглядом уставилась на парковавшийся во дворе блестящий на солнце черный «ЗИЛ».

– Это они, они, я чувствую... Дмитрий Владимирович, это они, за мной. Опять... — забормотала она жалким срывающимся голосом и мертвой хваткой вцепилась в плечо мужа. — Не отдавай меня им, защити.

Редников-старший пытался обнять ее, успокоить, разжать скрюченные пальцы, Тоня же словно не слышала его, дрожала и нервно озиралась по сторонам. Когда дверь распахнулась и на веранде появились двое в официальных черных костюмах — один солидный, приземистый, с брюшком, второй помоложе, вертлявый, в поблескивавших на носу очках, — Тоня уже совсем перестала владеть собой, завизжала и забилась в руках Редникова.

– Можно к вам? — спросил солидный и остановился, с опаской рассматривая Тоню.

– Если гора не идет к Магомету, как говорится, — поддакнул вертлявый лающим тенорком.

– Дмитрий,пусти меня! Вы все заодно с ними, да? — упиралась Тоня. — Пустипу, мне страшно!

– Антонина, успокойся. Это ко мне из Госкино товарищи. — Редников попытался перекричать жену.

Затем, поняв, что это бесполезно, сделал знак Глаше, и той удалось перехватить хозяйку. С другой стороны подоспел Никита. Поддерживая рыдающую Тоню, они увлекли ее к лестнице, наверх, в комнаты.

– Мы, может быть, не вовремя? — надменно осведомился солидный.

— Нет, почему же, — возразил Дмитрий. — Просто моя жена не совсем здорова. Все в порядке, не обращайтесь внимания.

Наверху еще слышны были истеричные вопли и всхлипы Тони, Редников же, не обращая на них никакого внимания, повел гостей по коридору:

— Проходите, пожалуйста, в просмотровый зал, товарищи, я все вам покажу.

На лестнице появился побледневший Никита, взглядом спросил отца, что делать.

— А, Никита, — широко улыбнулся Редников. — Спускайся, пойдем с нами. Тебе тоже интересно будет посмотреть.

— А... там как же? — Никита кивнул в сторону комнат второго этажа.

— Все нормально. Глаша все сделает, — невозмутимо отозвался Дмитрий Владимирович.

Никита злобно сощурился на отца, однако ничего не сказал, послушно сошел вниз. Дмитрий Владимирович повернулся, собираясь уходить, и увидел вдруг Алю, о которой в общей суматохе все забыли. Она стояла у окна, перебирая кончиками пальцев золотистые головки ромашек в вазе.

— Аля, вы извините, что так вышло, — обратился он к ней. — Побеседовать нам сегодня, видимо, уже не удастся. Вы, если хотите, пойдите с нами, посмотрите только что отснятый материал моей новой картины. Может быть, вам для очерка пригодится.

Аля, кивнув, прошла за ним в просторную комнату, окна в которой были завешаны глухими черными шторами. На стене находился большой экран, перед ним располагались кресла и стулья. На небольшом столике в центре комнаты Дмитрий Владимирович принялся расставлять коньячные рюмки.

Двое из Госкино расположились в креслах. Вертлявый покосился на Алю и что-то тревожно зашептал солидному. Тот оглядел девушку и по-хозяйски махнул рукой — пусть, мол, сидит, не помешает.

Никита, злой, нахмуренный, примостился на табуретке у выхода. Аля уселась на один из стульев. Небольшая дверь в стене приоткрылась, выглянул киномеханик. Редников о чем-то поговорил с ним, мужчина понимающе кивнул и скрылся за дверью.

Пузатый чиновник всем телом повернулся к Дмитрию Владимировичу, спросил:

— У вас в заявке было написано, что картина будет по мотивам автобиографии?

— Да, — кивнул Редников. — Можно сказать, повесть о моем детстве.

Дмитрий Владимирович опустился на стул. За маленькой дверью что-то зашуршало, застрекотало, экран на стене засветился, и начался просмотр.

Десятилетний мальчик в белой рубашке, коротких шортах и нитяных чулках на черных резинках стоит у окна в большой просторной детской.

Мальчик прижимается носом к стеклу, мимо носа летят снежинки, прочерчивая в ночном воздухе косые белые штрихи. Откуда-то издалека, наверно, из квартиры соседей, доносятся приглушенные звуки танго. «Счастье мое, ты повсюду со мной», — выпевает патефон.

В передней раздается звонок, и мальчик, ойкнув, несетя к постели и прямо в одежде юркает под одеяло. Он лежит едва дыша и изредка, приоткрыв один глаз, поглядывает, не происходит ли чего-нибудь интересного в комнате. А в детской действительно начинаются чудеса. Взволнованно пискнув, приоткрывается дверь, и на пороге, стуча огромными валенками и отдуваясь, появляется Дед Мороз в синей шубе и с белой, подозрительно смахивающей на вату бородой. Из-за его плеча выглядывает Снегурочка — довольно странная, в голубой шапочке, надвинутой на коротко остриженные волосы, и в очках на остром носу. За ними в комнату входит старая няня, останавливается у порога, сложив руки на груди, и с восторгом смотрит на мальчика.

— Мальчик Дима! — басом выговаривает Дед Мороз.

И Дима садится в постели, притворно трет совсем не сонные глаза и с притворным недоумением глядит на ночных гостей.

— А ну-ка, мальчик Дима, расскажи дедушке, хорошо ли ты себя вел в этом году, слушался ли родителей? Помогал ли маме с папой?

— Да-да, дедушка, да! — нетерпеливо подпрыгивая на кровати, кивает мальчик.

— А отметки у тебя хорошие? — вторит Снегурочка.

— Будто не знаешь! — досадует мальчик. — Одни пятерки!

— Ну что ж, Дима, ты заслужил подарок. — С этими словами Дедушка Мороз вынимает из-за спины корзинку, покрытую байковой пеленкой. Пеленка как-то странно дрожит, словно кто-то под ней возится.

— С Новым годом, Димуля, с новым счастьем! — улыбается Снегурочка.

Мальчик, широко раскрыв глаза, принимает подарок, осторожно отдергивает край пеленки, и из-под него тотчас же выглядывает черный любопытный нос. Дима от неожиданности вздрагивает, едва не выпускает корзинку из рук. Но вот пеленка уже откинута, и в лицо мальчику тычется мордочка щенка немецкой овчарки.

— Ой, мамочка, папуля, спасибо! — вопит Дима, позабыв от счастья, как следует обращаться к Деду Морозу и Снегурочке. — Я Дима, — шепчет он щенку, — а ты... Ты у нас будешь... Тим?

— Тим Димыч, — шутит отец.

И щенок, понимая, что ему здесь рады, заливается счастливым звонким лаем.

Дима, забыв обо всем на свете, возится со щенком. Отец, морщась, отклеивает бороду, обтирает подбородок, отплевывается от ваты. Он оказывается совсем молодым еще мужчиной с широким открытым лицом, с большими темными смеющимися глазами. Мать, расстегивая голубую шубку, подходит к окну, проверяет, плотно ли прикрыта форточка, и смотрит вниз, во двор, замечает что-то, и вся ее фигура мгновенно напрягается, горбятся плечи, голова словно вжимается, пальцы нервно теребят край голубой шубки.

Мать поворачивается к отцу, делает тому едва заметный знак подойти и говорит вполголоса:

— Опять приехали, посмотри. За кем на этот раз? Соседи говорили, вчера Пятакова арестовали, с четвертого этажа...

Отец выглядывает во двор через ее плечо, видит, как тормозит внизу черная «эмка». Из машины выходят трое и направляются к подъезду. Отец, раздраженно передернув плечами, отходит от окна, наставительно говорит матери:

— Образованная женщина, а слушаешь какие-то бабьи сплетни... Зря никого не забирают. И потом, время сейчас такое, опасное. Бдительность нужна. Разбираются товарищи.

Отец подходит к Диме, смотрит, как мальчик пытается дрессировать щенка, кладет сыну на плечо широкую ладонь. Тим ликуяще тявкает, одновременно в передней звенит звонок.

Он врывается в дом как яростный и страшный сигнал тревоги. Он пронесется по сонным комнатам, разрушая атмосферу уюта и

тепла, словно вместе со звуком просачивается в дом страх, утробный ужас, различимый в отчаянном шепоте матери:

— Не будем открывать! Пожалуйста! Я боюсь! Можно через черный ход...

А Дима слишком увлечен новым другом, он не слышит звонка, не ощущает повисшего в воздухе запаха страха и беды, не понимает, почему отец, высвободившись из рук матери, говорит оскорбленно:

— Ты каким-то трусом меня выставить хочешь? Я ни в чем не виноват, и бояться мне нечего!

Дима сидит на полу, ласкает щенка, гладит его морду, приговаривая: «Тим, Тимошка...», и не замечает, как опустела детская, не слышит негромкого разговора в гостиной, вскрика матери, спокойного, рассудительного голоса отца и отрывистых приказаний кого-то незнакомого. Лишь спустя полчаса, когда мать начинает вдруг отчаянно рыдать там, за стенкой, Дима вздрагивает, поднимает голову и бежит в гостиную.

Первое, что он видит, — это поваленная елка на полу. Елка, пушистая полтораметровая красавица, которую они с отцом так тщательно выбирали в субботу, для которой вместе с матерью и Зиной клеили из цветной бумаги игрушки, лежит опрокинутая, и у самых ног Димы поблескивает рубиновым боком расколота красная звезда с верхушки.

Елка почти загораживает мальчику вход в гостиную. А там что-то происходит, какие-то крики, шум. «Бандиты! — решает Дима. — Я должен помочь, спасти!» Он опускается на колени и пытается проползти под ветками опрокинутой ели, сквозь зеленую хвою ему видна мать в сдвинутой на затылок голубой Снегурочкиной шапочке. Мать стоит почему-то на коленях, отчаянно голосит и цепляется за руку кого-то невидимого. Дима приподнимается повыше и понимает, что это рука отца. Отец без пиджака, волосы его всклокочены, он хочет что-то сказать матери, но его под руки хватают двое незнакомцев и выталкивают в коридор. Мать, хрипло рыдая, пытается удержать их, и один из ночных гостей грубо ее отталкивает. Мать, падая, вцепляется в черный хромовый сапог одного из незнакомцев, тот отбрасывает ее, и она остается распростертой на ковре. Отец же, в дверях, на секунду

оборачивается, кричит что-то, но его быстро выталкивают за дверь.

Увиденное настолько нереально, что Дима в первую минуту замирает, словно не верит своим глазам. Да не может же быть такого! Так не бывает! Но уже в следующее мгновение он с криком рвется к матери сквозь еловые ветки, раздирая в кровь руки и лицо, рвется с единственным намерением — растерзать, растоптать этих мерзавцев, этих бандитов, которые посмели ворваться в его жизнь, еще полную детских грез и мечтаний. Он кричит и рвется вперед, но чьи-то сильные теплые руки подхватывают его сзади и уносят обратно в детскую. Дима, не видя противника, молотит его кулаками и коленками, лишь в детской понимая, что держит его Зина, старая няня.

Глаза у Зины заплаканы, на лице странное выражение смирения перед неизбежностью, тупой покорности судьбе.

— Не гляди, миленький, не гляди, коралик, — ласково успокаивает его Зина.

От нее так знакомо пахнет — кухней, теплом, выглаженным фартуком... Ее родной голос, белорусский твердоватый выговор, ласковые слова... Дима понемногу затихает, замечает щенка, увлеченно грызущего на ковре его тапку.

— Смотри, вон и дружок твой новый тебя зовет. Правда, Тимка? Тихо, милый, видно, такая уж судьба... — уговаривает Зина.

И Дима успокаивается, поднимает с пола щенка, бережно прижимает его к груди.

А потом сразу жаркий летний день, вокзальная суeta, сверкает на солнце новенький вагон поезда, снуют взад-вперед люди, нагруженные чемоданами и баулами. Дима, в белом матросском костюмчике, восторженно поглаживает никелированный поручень вагона. Рядом с ним, на поводке, подросший Тим. Он оглядывается по сторонам, вертится, обнюхивает все вокруг, заливается веселым лаем. Чуть в стороне Зина, сосредоточенная, нахмуренная, пересчитывает багаж:

— Так... сумки, корзинка, чемодан... Вроде ничего не забыли.

Рядом с ней мать, в белом летнем платье, на груди — значок партийной конференции. У матери болит голова, она машинально трет висок, в смятении оглядывается по сторонам, словно

потерялась, запуталась в сутолоке вокзала. Но рядом Зина, спокойная, уверенная, и мать невольно старается держаться возле нее.

—Завтра уж на месте будем, — рассуждает Зина. — Вот не знаю, как там, в деревне, дом-то мамкин без меня... Ну ничего, сестра писала — стоит, крыша только прохудилась. Нехай, это мы быстро залатаем...

Мать неожиданно мотает головой, с напряжением улыбается, берет себя в руки, говорит повелительно:

—Не беспокойтесь, Зинаида, я уверена, что нам все понравится. Диме необходим свежий воздух, фрукты... Да и Владимир... — Она чуть запинается, но затем продолжает ровно, спокойно: —...когда вернется, будет рад отдохнуть в деревне.

—Когда вернется? — переспрашивает Зина, зорко глянув на мать. — А когда вернется?

—Вот когда вернется, тогда и вернется, — обрывает та.

Зина сокрушенно качает головой, поджимает губы, затем снова бросается к сумкам.

—Ну да что же? Пора и в вагон проходить...

Она берет тяжелый чемодан, волочет его за собой, о чем-то шумно спорит с проводником. Дима оглядывается по сторонам и видит мороженщика, ловко захватывающего металлической ложкой шарики пломбира и шлепающего их между двух круглых вафель.

—Ма-а-ам, — ноет Дима. — А мороженое-то... Ты обещала!

—Мороженое? — В пестрой вокзальной толпе мать замечает торговца мороженым. — А, конечно... Сейчас принесу.

Зина уже обосновалась в купе, заняла полки и теперь выглядывает из окна, сурово следит за своими подопечными.

—Зачем вам бегать-то? В ногах правды нет, — выговаривает она матери. — Проходите уж, а я принесу.

—Зина, да господь с вами. Что, меня утащит кто-то, что ли? — раздраженно возражает мать. — Расставляйте пока вещи, я сейчас вернусь.

Дима, стоя у дверей вагона, смотрит, как мелькает в толпе ее белое платье. Вот она уже у мороженщика, протягивает ему монетки, тот вручает матери возделенный белый шарик. Дима сладко облизывается, предвкушая удовольствие.

Вдруг из-за угла здания вокзала появляются двое в светлых летних костюмах. Дима раньше никогда этих людей не видел, однако в горле у него почему-то пересыхает. Он судорожно хватается за никелированный поручень. Рядом, почував испуг хозяина, глухо ворчит Тим.

Мужчины подходят к матери, говорят ей что-то, подхватывают под руки и почти отрывают от земли. Мать, сразу как-то ссутулившись, сгорбившись, покорно следует за ними. Мороженое, выпав из ее руки, чавкает под ботинком одного из незнакомцев.

Дима потерянно опускается на железную ступеньку вагона, нагретый на солнце металл яростно жжет ноги. Тим принимается хрипло лаять, и один из мужчин, держащих под руки мать, озирается. И Дима мгновенно, словно повинувшись какому-то прежде незнакомому, недавно приобретенному инстинкту, зажимает псу пасть рукой, вталкивает его в вагон и прячется за зеленой дверью тамбура. Дима видит сквозь пыльное, захватанное пальцами окошко, как исчезает за стеклянными дверями белое платье матери.

Дима тяжело, прерывисто дышит. Он хочет заплакать, но слезы лишь давят где-то в горле, не желая проливаться. Тим шершавым розовым языком лижет его щеку. В вагон входят люди, бородатый дядька в соломенной шляпе прикивает на мальчика:

— Чего расселся здесь, на проходе? Зайцем хочешь проехать, что ли?

Дима с трудом поднимается, разминая затекшие коленки. И тут же прибегает Зина. Должно быть, тоже в окно видела, что произошло.

— Чего орешь на ребенка, оглоед! — сварливо кричит она на мужика.

И, обняв Диму за плечи, не говоря ни слова, ведет его в купе, сажает на застеленную полку, рядом на полу пристраивается Тим. Зина закрывает дверь купе, опускает штору на окне, садится рядом с Димой и приговаривает, прижимая к своему плечу голову мальчика:

— Батюшки светы, маленький! Мы с тобой ничем уже не поможем... ничем, кораличек мой!

По экрану побежали серые штрихи, стрекотание киноаппарата затихло, и слышно стало, как завозился в проекторной киномеханик,

доставая другую катушку с лентой.

Аля, только сейчас почувствовав, как затекла спина, расправила плечи, потянулась. До сих пор она неотрывно смотрела на экран, забыв на время, где находится. Увиденное ее поразило. О тех временах не принято говорить вслух. Конечно, ей доводилось читать самиздат, по общежитию ходили время от времени замусоленные слепые перепечатки, и все студенты мнили себя немного диссидентами, когда шепотом рассказывали во время очередной пьянки политические анекдоты. Но чтобы вот так, на большом экране, открыто... Аля посмотрела на Дмитрия Владимировича. Он сидел, облокотившись на столик и сжав руками голову. Каким же отважным должен быть этот человек, раз решился показать такое. Каким бесстрашным, смелым. Тем более картина автобиографическая. Значит, пережив этот ужас, смог побороть его в душе, превозмочь и стать сильнее. У Али перехватило дыхание.

Завозились на своих местах и чиновники.

– Да, Дмитрий Владимирович, удивили... — протянул пузатый.

– Вы, Иван Павлович, может быть, весь материал посмотрите, а потом и поговорим, или этого достаточно? — резко спросил Редников.

– Посмотрим, посмотрим, не беспокойтесь, — протягивал вертлявый.

Иван Павлович лихо опрокинул стопку коньяку, закусил лимоном и, скривившись, произнес:

– Продолжаем просмотр.

Над колхозным полем занимается раннее утро. Небо начинает чуть светлеть над горизонтом. В темнеющем за кромкой поля лесу верещат звонкоголосые птицы. Блестят капли утренней росы на колосьях. Вдали, в овраге, клубится седой утренний туман.

На тропинке, ведущей вдоль поля, появляется Дима. Он сильно вытянулся, повзрослел. В лице меньше детской наивности, оно серьезнее, сосредоточеннее. Дима чуть хмурит брови, щурясь на первые лучи солнца.

Навстречу парню из-за кустов выходят трое деревенских мальчишек. Двое Диминого возраста, один — белобрысый, в продранной майке — постарше. Мальчишки преграждают Диме путь, старший, стоя в центре, сквозь зубы сплевывает под ноги. Вид у ребят воинственный, однако Дима их не боится. Они не вызывают в

нем ощущения животного ужаса, необратимости, покорности. Нет, они свои, такие же, как и он, с ними можно драться. И даже, по возможности, победить.

—Куда попер, москаль паршивый? — начинает старший.

—Дай пройти, Василь! — огрызается Дима.

Завязывается обычная перепалка: ты кто такой, а ты кто такой? Мальчишкам, кажется, больше охота позадираться, чем лезть в драку по-настоящему. Утро слишком красивое, слишком тихое, ленивое. На поле опускается сонное марево занимающегося жаркого летнего дня. Вдруг один из парней бросает случайно пришедшую на язык фразу:

—Я б тебя поучил, да руки марать неохота. Мать-то говорила, батько у тебя — враг народа... И ты такой же, вражина!

И все в одно мгновение меняется. Дима закусывает губу, на его скулах вздуваются желваки, судорожно стиснув кулаки, он яростно бросается на обидчика, цедя сквозь стиснутые зубы:

—Мой папа не предатель, он коммунист!

Василь угрожающе наступая на мальчика. Дима начинает произвольно пятиться — ему еще никогда не приходилось драться с таким взрослым и сильным противником. Сузив в змеиную щелочку глаза, Василь замахивается на Диму:

—На-кась, выкуси, вражеская морда!

Дима и сам сразу не понимает, что произошло. Золотисто-коричневый вихрь, метнувшись от старого поваленного дуба, рвется вверх и катится по траве, увлекая за собой ошалевшего от испуга Василя.

—Хлопцы! Волк! Помогите! — хрипит полузадушенный обидчик.

Дима, проворно вскочив на ноги, свистит:

—Тим! Ко мне!

Тим будто нехотя выпускает разорванные штанины Василя и плетется к Диме с виноватым видом — дескать, сам видишь, хозяин, не удержался. Дима берет пса за ошейник. Деревенские ребята расступаются, пропуская Тима и его хозяина. Василь, обиженно сопя и ругаясь шепотом, пытается разгладить порванные брючины.

—Попадешься ишио, москаль паршивый, — фыркает он. — А пса твоего на березе подвесим.

Дима останавливается, резко оборачивается к Василию, лицо его от ненависти белеет:

— Что? А ну повтори, что сказал!

Тим становится в стойку. Противники уже готовятся начать бой по второму кругу, как вдруг над самой кромкой леса появляются бликующие на солнце точки. Приближаясь с глухим, непрерывным гулом, точки превращаются в невиданных гигантских металлических птиц.

Василь, задрав голову кверху, шепчет:

— Гляди-кась. То ж самолеты.

Все ребята вслед за ним поднимают головы.

Мальчишки заинтересованно смотрят вверх, затем оглядываются друг на друга. Самолеты пролетают в сторону деревни, и ребята видят, как из них начинают сыпаться какие-то странные чурбачки.

— Что это? — вслух произносит Дима.

Тим, усевшись рядом с мальчишками, смотрит на самолеты с таким же недоумением. Вдруг Василь, смекнув что-то, как самый старший, отчаянно орет:

— Ребзя, ложись! Ложь-и-ись!

И, не дождавшись реакции, с силой валит сидящего рядом Диму на землю и сам падает навзничь.

И тут же грохочет взрыв, потом второй, третий... Все небо исчерчено серыми полосами гари. Сквозь стрекот винтов слышен скрежет открывающихся бомболюков. Темными фонтанчиками вздымается земля. Вспыхивает край леса, в который угодила бомба.

Мальчишки лежат на земле, прикрыв головы руками. Сбросив бомбы, самолеты разворачиваются и улетают. Ребята несмело поднимаются, оглядываются по сторонам и, забыв о драке, не сговариваясь, бросаются врассыпную. Тим поспекает за мчащимся по полю Димой.

Волнуется под утренним слабым ветром поле, клонятся тяжелые, налитые солнцем колосья, мелькают в дымном мареве вихрастые мальчишеские головы, слышатся крики:

— Война, хлопцы!

Бегающий впереди Василь неожиданно запинаясь и падает навзничь. Поравнявшись с ним, Дима видит, что Василь, наливаясь

синеватой бледностью, хватая ртом воздух. По его рубашке возле правого плеча разливается красное пятно. Дима, не останавливаясь, пробегает мимо, затем возвращается, подхватывает недавнего противника под мышки и, тяжело отдуваясь, волочет его к деревне.

Дима в перепачканной кровью и землей рубашке несетя по деревне, врывается в избу, влетает в чисто выметенную деревенскую горницу. Бросается к столу, чуть не свалив с него кастрюлю с вареной молодой картошкой, посыпанной укропом. Мечется по комнате, задевая плечом полки с расставленными на них глиняными мисками и горшками, кричит:

— Зина! Зина! Где ты! Я такое видел, Зина!

Из дальней комнаты появляется Зина, в руках у нее вышитое полотенце. Губы старой няни скорбно сжаты, покрасневшие глаза смотрят на мальчика так, словно Зине физически больно от того, что она сейчас скажет.

Подойдя к Диме, она обнимает его и произносит куда-то ему в плечо:

— Война... Война, светушко! Я давно живу на свете, уж видала такое. Беда, маленький, беда. Война!

Сквозь окно видно, как бегут по улице деревенские, останавливают друг друга, делятся страшной новостью.

Дима стоит у окна и смотрит на улицу. Улица пустынна, вдоль покосившегося, щербатого плетня едет немецкий открытый джип, в кабине два офицера в нацистской форме.

Лукавая и чуть настороженная собачья морда выглядывает из кустов боярышника. Еле слышно, по-волчьи ступая, Тим крадется к дому, держа в зубах только что пойманную утку. За месяцы тяжкого, выворачивающего нутро голода умный пес пристрастился к охоте. Вот и сейчас он молниеносно настиг свою добычу в камышовой заводи.

Увидев его, офицеры притормаживают, один из них перевешивается из машины и хочет погладить собаку. Тим, оскалившись, глухо рычит, фашист хохочет, обнажая крепкие белые зубы.

Дима выскакивает из дома. Теперь видно, что он тоже сильно переменялся за это время. Он бледный, изможденный. Детская припухлость полностью сошла с его лица. Выступили высокие скулы,

темные, когда-то искрящиеся смехом глаза глубоко запали. Понятно, что мальчик голодает. Бежит он с трудом, ноги плохо слушаются его.

Дима останавливается напротив немецкой машины. Тим подбегает к нему, радостно демонстрируя добычу. Дима машинально берет у него утку, не отрывая ненавидящих глаз от черного джипа. Белозубый офицер обращается к нему:

—Малчик. Стоять здесь. Я покупать твой собак! — Загибая пальцы, он начинает перечислять сокровища, которые обретет Дима, продав собаку. — Много хлеб, тушенка — айн, цвай, драй — три банка. Нет, пять! Пять банка тушенки за твой собак!

Дима, судорожно сжимает кулаки, свирепо смотрит на офицера, цедит сквозь зубы: «Не продается!» — и, отвернувшись, направляется к дому. Обескураженный немец краснеет от злости, яростно хватается за кобуру, но второй офицер останавливает его, махая в сторону уходящего Димы рукой — пусть, мол, идет, доходяга, сам от голода подохнет, и овчарка бесплатно достанется, не надо будет тушенку тратить. Довольные, офицеры звонко хохочут, белозубый нажимает на газ, и машина уезжает, подняв за собой шлейф серой пыли. Мальчик смотрит ей вслед, сжав зубы, сплевывает на дорогу и говорит яростным шепотом:

—Чтоб вы сдохли!

Потрепав Тима по загривку, Дима идет к дому, поминутно озираясь, проверяя, не заметили ли соседи их возвращения.

Дима входит в дом. За ним трусит Тим. Собачью добычу Дима аккуратно кладет на табурет и, проходя мимо, гладит Тима по голове, бормоча:

—Хороший пес, молодец! Супу наварим. Вот Зина обрадуется. Совсем она у нас с тобой слабая...

Дима отдергивает грязную вылинявшую занавеску, за которой открывается лежанка. На смятой пестрой подушке лежит Зина. Лицо ее страшно — глаза глубоко запали, торчат под истончившейся кожей скулы, она едва улыбается Диме бледными синеватыми губами.

—Зинушка, ты поспала? — обращается к ней мальчик и, склонившись, целует няню в пергаментного цвета лоб. — А Тим-то у нас дичь добыл, представляешь? Ты мне объясни, как оципать, а я сварю.

Но Зина не слышит его, глаза ее лихорадочно блестят, она силится поднять чудовищно тонкую, перевитую ярко выступившими венами руку.

— Ох, беда, беда, как же ты один будешь, Димка? — бормочет она. — Ты меня послухай, светушко! Уходи из деревни, сейчас уходи. В лес, к партизанам, куда дойдешь...

Дима пытается возражать, но она торопится сказать все, что задумала, пока силы не изменили ей:

— Я умру скоро, и Петруси эти окаянные, соседи наши, узнают, что нет меня, придут за Тимкой, изрубят его и съедят... Как бы и самого тебя...

— Зина, что ты? Жар у тебя, что ли? — пугается Дима. — Погоди, я тебе водички принесу.

Зина тонкой синевато-бледной рукой хватая его за запястье, останавливает, шевеля губами из последних сил:

— Ты ничего не бойся, Димушка. Ничего не бойся! Мы их одолеем, проклятых. Потому что за нами правда. За нами, а не за ними. Ты это помни и ничего не бойся. Ты выдержишь и будешь жить долго-долго. И счастливо!

Обессиленная, Зина откидывается на подушку, лицо ее сереет, глаза еще больше западают. Дима убегает в угол комнаты, садится на пол, обхватив голову руками. Тим ластится к хозяину, пытается лизнуть его в щеку, мальчик обнимает собаку за шею.

Постепенно в горнице темнеет, наступает ночь. Тим поднимает голову и начинает тоненько, заунывно подскуливать. Дима проходит по дому, закрывая ставни, заглядывает к Зине, несколько секунд стоит молча, видно только, как дрожит, вцепившись в край занавески, его рука, затем он едва слышно свистит Тиму и выходит из дома. Собака плетется за ним.

Дима и Тим выходят из леса, оставив там свежий холмик земли. Тим жметя к мальчику. Дима машинально гладит его голову ослабевшими пальцами.

Мальчик и овчарка выходят на деревенскую улицу, приближаются к дому. Еще издали Дима замечает, что дверь дома болтается на одной петле и тревожно хлопает на ветру. Он останавливается. Тим, присев на задние лапы, глухо ворчит, затем, по-волчьи крадучись, прижав уши, пробирается в дом. Дима затаив дыхание ждет

возвращения верного друга. И вскоре собака появляется в дверях, хрипло рыча. Дима проходит в хату и останавливается на пороге.

Здесь все перевернуто — хрустят под ботинками глиняные черепки, кружатся в воздухе перья вспоротой перины, даже половицы кое-где оторваны с мясом. Вид разгромленной комнаты угнетающе действует на мальчика. Он медленно садится на пол, растерянно перебирает пальцами черепки. Тим носится по комнате, принюхивается, рвется в дверь, но мальчик его не пускает:

— Тише, Тимка, тише... Никого нам уже не поймать. Уходить надо, Зина права была... Только как? Через лес не проберемся — немцы...

Тим пристально смотрит на хозяина внимательными, все понимающими глазами. Дима делает Тиму знак, и они выходят во двор.

Дима бесшумно проходит по двору, указывает Тиму на чердачное окно и с трудом приставляет к этому окну деревянную садовую лестницу. Он отдает четкие резкие команды, как когда-то в незапамятные времена еще в Москве, когда дрессировал щенка на специально оборудованной собачьей площадке. Не добившись результата, мальчик берет Тима на руки, толкает его вверх. Пес не может понять, чего от него хочет хозяин, рвется из рук. Дима отпускает его, поднимает с земли утку, зашвыривает ее в узкое чердачное окно. Тим понимает, чего от него добиваются, и с Диминой помощью вскарабкивается по лестнице в окно.

Дима поднимается по лестнице, останавливается, свешивается через лестничную перекладину, тяжело дышит. Наконец, сделав последнее усилие, с трудом переваливается через оконный проем и отталкивает лестницу. Лестница падает.

Тим, забившись в угол чердака, потрошит утку. Дима шарит в темноте, натывается на большой мешок, просовывает в него руку и вытаскивает на свет горсть остро пахнущих листьев. Табак! Он сует листья в рот и растягивается на полу. Неожиданно с улицы доносятся приглушенные голоса, Дима подползает к чердачному окну и, прячась, выглядывает на улицу.

Две тени бесшумно мелькают во дворе дома. Чуть скрипит дверь — это один из непрошенных гостей проскользнул в горницу. Второй топчется во дворе, нетерпеливо озираясь по сторонам. Тим, услышав

шум, принимается глухо ворчать, и Дима наваливается на него всем телом, зажимая ладонью пасть.

Затем первый возвращается, со двора доносится отрывистый шепот:

— Зинка, кажись, преставилась...

— А малец где?

— Да провалился куда-то. Ни псины, ни пащенка.

— Вот стервец! Сам небось своего кобеля схавал да и дал деру.

Ищи его теперь...

Две неясные тени движутся по улице и растворяются в темноте. Дима обессиленно откидывается и закрывает глаза. Невыносимо, мучительно хочется спать. Но спать нельзя, нет, придут, найдут... Веки становятся тяжелыми, липкими, звенящая голова клонится к полу. Дима засыпает.

Но вот его снова будят приглушенные голоса. Дима слышит легкое шуршание — кто-то приставляет лестницу, чтобы взобраться на чердак. Напрягая остаток сил, обливаясь холодным потом, мальчик ползет к перекладине, за которой можно спрятаться и, оставаясь незамеченным, посмотреть, что делается внизу. Тим приникает к окну, пытается скулить. Дима, выпростав из-под себя правую руку, зажимает псу пасть:

— Тише, Тимыч, мы им так просто не дадимся.

Мальчик перевешивается через перекладину и тут же в ужасе отшатывается. Все его существо охватывает парализующий страх. Прямо на него смотрит человек — веснушчатый, курносый, заросший клочковатой рыжей бородой и наверняка ужасно голодный. И Дима выговаривает тонким, вмиг осипшим голосом:

— Только собаку мою не ешьте. Пожалуйста!

— Фью, — свистит парень. — А ну-ка, братушки, давайте-ка выбираться отсюда. — И, поймав дикий Димкин взгляд, смеется весело: — Свои мы, не боись, партизаны!

Дима, не в силах поверить в спасение, смотрит на парня. Голова его кружится, в ушах грохочет собственное сердце, перед глазами начинают мелькать черные мухи, и мальчик проваливается в тяжелый удушливый обморок.

В доме Диму угощают двумя сухарями. Мальчик, присев на пол, сует один сухарь Тиму, другой грызет сам, стараясь подольше

подержать во рту, не проглатывать сразу крошки драгоценного хлеба. Партизаны, сидя кружком на полу, о чем-то шепчутся. Дима различает слова «офицера бы поймать». Неожиданно в памяти встает белозубо хохочущий немец на черном джипе. Дима откашливается и храбро произносит:

— Я знаю, как выманить офицера.

Слова его встречают смехом, начинают подтрунивать над ним.

— Ты, хлопец, — говорит бородатый Никита, его спаситель, — вроде и верно тогось.

— От голода и ты бы тогось, — одергивает его другой партизан.

— А вы послушайте сначала, — обижается Дима и полушепотом начинает выкладывать свой план. Лица бойцов постепенно становятся серьезными. Они внимательно слушают, и кое-кто даже кивает.

Дом, где находится немецкая комендатура, Дима знает хорошо. Он давно уже стоит перед воротами, поджидает белозубого офицера. Ему отчаянно страшно, видно, как время от времени судорожно подергиваются его плечи. Но Дима помнит завет Зины: «Ничего не бойся. Правда на нашей стороне». И он храбрится, сжимает кулаки, цедит сквозь зубы:

— Дождетесь, фрицы проклятые!

Наконец офицер выходит, прищурившись, смотрит на мальчика, узнает и расплывается в ухмылке:

— Продавать собак?

Дима горячо кивает и тащит офицера вниз по улице, к своему дому. Тот едва успевает за ним.

«Ничего, немчура, — думает Дима. — Ты только дойди... Мы еще посчитаем твою тушенку».

Неожиданно ему приходит в голову, что офицер может что-нибудь заподозрить, и мальчик начинает расписывать достоинства собаки:

— Хороший собак. Дер хунд! Злой! Пойдемте!

— Яволь, — лыбится офицер.

Затем, подозрительно вскинувшись, останавливается:

— Ты кормить собак? Он не голодать, не умирать?

Дима яростно качает головой, убеждает:

— Он еще сильный, вы не думайте! Его бы чуть откормить только. Он здоровый, оклемается.

Офицер в сомнении топчется на дороге, хочет уйти. Дима в отчаянии делает решительный шаг.

— Не хотите, не надо, — с деланным равнодушием бросает он. — У меня еще приятель ваш про собаку спрашивал...

Офицер хватается мальчика за рукав рубашки, резко дергает. Старая застиранная материя с треском рвется, оторванный рукав болтается на худой Диминой руке.

— Стой! — хищно оскалившись, командует немец. — Я покупать собак, я сказал. Веди!

Они подходят к дому, из-за дверей доносится слабый лай Тима. Офицер, довольно потирая руки, открывает дверь и входит в дом. В ту же секунду в темноте комнаты на него набрасываются партизаны. Один зажимает немцу рот, чтобы не кричал, другой валит его на пол, третий вяжет руки. Работают они быстро, слаженно. Видно, что это не первый «язык», которого им удалось взять. Дима стоит, прислонившись спиной к двери, переводит дыхание. Рядом с ним умными глазами наблюдает за происходящим Тим.

Связав офицера, Никита быстро командует:

— Уходим через задний двор и дальше, через болото.

Бесшумные, почти невидимые в темноте, бойцы выскальзывают из дома, двое волокут на себе связанного врага. Никита идет последним. Дима, не говоря ни слова, смотрит им вслед. Ну, ему теперь не жить, это ясно. Вся деревня видела его у комендатуры. Что ж, все равно умирать. Зато отдал свой долг стране, Родине. Он медленно опускается на пол.

— А ты шо ж встал як вкопанный? — удивляется Никита. — Давай, поспевай за братушками!

Дима вскакивает, недоверчиво смотрит на Никиту, расплывается в счастливой улыбке и, схватив Тима за ошейник, спешит вслед за партизанами.

Экран снова погас. Аля выпрямилась на стуле, закашлялась, попыталась разогнать рукой плавающий в воздухе сигаретный дым. Дмитрий Владимирович обернулся, смял в пепельнице папиросу,

встал, шагнул к окну и открыл форточку. И сразу донеслись со второго этажа отчаянные крики Тони:

– Я видела, видела. Он в окно впрыгнул. Дмитрий, где ты?

А следом увещевания Глаши:

– Антониночка Петровна, родная вы моя, успокойтесь!

Дмитрий Владимирович, поморщившись, сел на место. Никита же, откровенно зевавший во время просмотра, вскочил с табуретки, свирепо покосился на отца и вылетел из просмотрового зала.

Иван Павлович, разомлевший от коньяка, осоловелым взглядом обвел комнату, пытаясь понять, откуда идет этот раздражающий звук. Геннадий Борисович услужливо наклонился к нему и что-то зашептал в ухо.

– Обстановочка у вас тут, Дмитрий Владимирович, прямо скажем, не рабочая, — прогудел Иван Павлович.

Редников коротко взглянул на него, и чиновник неожиданно осекся, отвернулся, словно одним лишь взглядом Дмитрий дал понять, что обсуждать свои семейные вопросы не позволит никому.

Экран засветился, поплыли кадры нового эпизода фильма.

Солнце яростно светит на улицах полуразрушенного Берлина. Оно отражается в уцелевших кое-где оконных стеклах, поблескивает на винтовках проходящих по улицам солдат, зайчиком прыгает по полотнищам развевающихся красных флагов.

Едет по улице грузовик, в кузове которого распевают под гармошку улыбающиеся советские солдаты. На углу из кузова выпрыгивают Никита и Дима — теперь уже высокий широкоплечий юноша с пробивающимися над верхней губой усиками. За ними выскакивает и верный Тим. Друзья идут по улице, Никита обнимает Диму за плечи, улыбается широкой, хмельной то ли от весеннего солнца, то ли от счастья улыбкой и тянет:

— Эх, не думал, что доживем до дня до этого. Не думал...

— А я никогда и не сомневался, что доживем! — запальчиво возражает Дима.

— Ты молодой ишо, — качает головой Никита. — И война-то для тебя — так, игрушки... да и повезло — три года с нами партизанил, а ни одного фрица застрелить не пришлось. Вот когда он стоит перед тобой, зенками своими совиными хлопает, дышит, а ты его бац — и

нету поганца. Это, знаешь, посильнее, чем тропинки минировать, сильно по котелку бьет.

Никита на мгновение мрачнеет, потом машет перед лицом ладонью, снова мечтательно улыбается:

— Эх, а заживем-то теперь, а? Варюха-то моя поди заждалась. Четыре года, как из дома ушел, соскучилась девка. Вернусь вот, свадьбу сыграем... А ты, Димка, что делать будешь дома, а?

Дима хочет поведать другу о давней своей, детской еще мечте, зародившейся много лет назад, когда сидел он вечерами на скамейке летнего кинотеатра между матерью и отцом и, затаив дыхание, следил за разворачивающимися на экране волшебными историями. Хочет признаться, что мечтает сам, своими руками делать кино, создавать для людей, уставших от грязи и ужасов войны, волшебные сказки, когда откуда-то сбоку, из развалин многоэтажки, щелкает выстрел.

И Никита вдруг замирает на полуслове, хватается за грудь и растерянно смотрит на красную жидкость, сочащуюся между пальцев. Он судорожно хватается губами воздух и медленно оседает на асфальт. Лицо его бледнеет, глаза остекленело смотрят на развевающийся на ветру красный советский флаг.

Дима, оторопев, глядит на друга, который еще секунду назад рассуждал о счастье и планировал, как заживет теперь со своей Варюхой. А Тим уже рвется с поводка, впрыгивает в подвальное окошко полуразрушенного дома. И Дима, не успев собраться с мыслями, влезает за ним.

Дима бежит по коридору заброшенного дома, перепрыгивает через поваленную мебель, на бегу распахивает ногой двери. В одной из дальних комнат видит лежащего на полу солдата в немецкой военной форме. Верный Тим навалился на него, держит зубами за горло, не давая подняться, но не сжимает челюсти, ждет команды, оглядывается на хозяина.

Дима вырывает из кобуры пистолет, прицеливается, но не может заставить себя выстрелить. Кисть его дрожит, и он удерживает скачущий локоть другой рукой. Немец, воспользовавшись Диминой слабостью, заводит свободную руку за спину, незаметным движением достает из-за пояса пистолет, целится в голову собаки. Увидев это, Дима мгновенно нажимает на курок. Голова немца глухо

бьется об пол, под безжизненное туловище подтекает лужа алой крови.

Дима продолжает стоять, вытянув руку с пистолетом, другой судорожно ухватившись за собственный локоть, смотрит на содеянное, зрачки его расширяются от ужаса.

— Это все, — обернулся к чиновникам Дмитрий Владимирович. — Остальные эпизоды пока не смонтированы.

— Ничего, мы с Геннадием Борисовичем уже обрисовали, так сказать, себе полную картину, — вальяжно протянул из кресла Иван Павлович.

— Да-а-а, — подобострастно закивал Геннадий Борисович. — Не зря сигнал поступил, ох не зря...

— Что ж, давайте поговорим, товарищи, — помрачнев, ответил Редников. — Прошу, пройдемте в кабинет.

Иван Павлович, переваливаясь, выплыл из зала. За ним засеменял Геннадий Борисович. Редников прошел следом, и Аля осталась одна.

Аля долго еще сидела в темном зале, сжимала руками голову, терла ладонью лоб. Сердце колотилось как бешеное, стучало в груди, билось о ребра. И почему-то одновременно хотелось подпрыгнуть высоко-высоко, закричать, захохотать и тут же упасть навзничь и заплакать.

«Что с тобой, чокнутая? — спрашивала себя Аля, стараясь успокоиться, прийти в себя. — Что происходит?»

Если уж совсем честно, что происходит, она догадывалась. Было уже такое. Было после девятого класса, когда на каникулах в трудовом лагере в Крыму крутила роман с Костей-вожатым. Было на втором курсе, когда чуть не вышла замуж за аспиранта Воронцова. Всегда вначале появлялось это вот ощущение — сердце подпрыгивает, как будто несешься на санках с крутой снежной горки. Но вот так сильно, чтобы не могла взять себя в руки, чтобы сидела в темноте и била себя кулаком по лбу, как безумная, такого не случалось. И страшно было подумать, признаться себе, отчего это с ней — здесь, сейчас. И мелькали перед глазами яркие вспышки: темная от загара рука берет ее за запястье, помогая спуститься с платформы, черные смеющиеся глаза на спокойном невозмутимом лице, застывшая напряженная фигура перед экраном...

Из-за маленькой дверцы высунулся киномеханик и с удивлением поглядел на Алю.

–Извините!

Она решительно вскочила со стула, вышла на пустую веранду, села к столу и достала из сумки общую тетрадь в коричневом кожаном переплете. «Надо заняться очерком, заняться очерком...» — стучало в голове. Аля на секунду остановилась, потерла кончиком ручки лоб, сосредоточиваясь, и принялась быстро записывать. Ровные строчки побежали по бумаге.

«Можно ли судить Мастера по обычным человеческим законам? Должен ли он подчинять свою жизнь устоявшимся общественным нормам: заботе о близких, беспрекословному выполнению задач, поставленных перед ним начальством, приумножению

благосостояния? Или задача его несоизмеримо шире — достучаться до каждого человека, донести скрытую от глаз правду, разбудить в людях глубоко запрятанные чувства? И не может он разменивать свой талант на бытовые мелочи?»

Аля на секунду остановилась, перечитала написанное, зачеркнула слово «Мастера» и вписала поверх «гения». Словно вторя ее мыслям, из дома донесся голос Редникова:

—И все-таки я настаиваю... Это история моей страны, моего народа, в конце концов, это моя история. И я ни на йоту не отступил от правды, от того, что видел собственными глазами. Без этих сцен картина потеряет...

Его перебил тягучий ленивый басок Ивана Павловича:

—Дмитрий Владимирович, о чем вы говорите! Вы тут нам антисоветчину лепите, прикрываясь красивыми словами... Нет уж, позвольте, я на себя такую ответственность брать не могу.

Дребезжащим голосом вступил Геннадий Борисович:

—Да-да, вопрос будет решаться наверху. Поговорим в другом месте и при других обстоятельствах.

«И сколько же иногда нужно мужества, сколько непоколебимой отваги, чтобы преодолеть все преграды и донести свою правду до человечества, — продолжала писать Аля. — Сколько сил нужно положить на борьбу с внешними обстоятельствами. Поневоле не останется возможности обращать внимание на личное, мелкое, преходящее. Отсюда, наверное, и идет миф о небывалой черствости и жестокости гениев».

На веранду, блестя свекольно-красным то ли от праведного гнева, то ли от коньячных возлияний лицом, выкатился Иван Павлович. Он бросил взгляд на Алю, быстро прикрывшую локтем написанное, буркнул что-то неразборчивое и протопал к выходу. За ним спешил, держа в руках кипу отпечатанных на машинке листков, Геннадий Борисович.

—Вот мы посмотрим, сравним первоначальный утвержденный сценарий с тем, что вы тут... натворили, — визгливо бросил он появившемуся на пороге Редникову.

Дмитрий Владимирович спокойно развел руками, словно говоря: «Ваше право». Геннадий Борисович, свирепо оскалившись, выскочил за дверь. Взревел во дворе мотор, и через минуту все стихло.

Дмитрий, нахмурившись, отошел к окну, взял с подоконника папиросы, закурил и, обернувшись к столу за пепельницей, только теперь увидел Алю.

Девушка смотрела на него не мигая, и было в ее взгляде что-то необычное, слишком откровенное, открытое и вместе с тем глубоко женское. Редников невольно приподнял брови, словно спрашивая: «Что-то не так?» И Аля, качнув головой, опустила глаза.

Редников кашлянул, взял со стола пепельницу, переставил ее на подоконник и обратился к Але:

– А вы, Аля, что скажете?

Аля быстро отозвалась:

– Я... Я не знаю... У меня внутри все перевернулось как будто. Я слышала о тех временах, читала... Но чтобы вот так, с экрана... Неужели так все и было?

– К сожалению, да, — кивнул Дмитрий.

Аля поднялась из-за стола, прошла по веранде, продекламировала как бы про себя: «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Дмитрий исподлобья смотрел на движущуюся по комнате тонкую фигурку в белом сарафане. Вот она прошла мимо совсем рядом, и от нее повеяло чистой речной водой, солнцем, степными травами. Задела рукав его рубашки, вздрогнула, быстро взглянула ему в лицо и отвернулась.

«Красивая, — отметил он про себя. — Но и какая-то странная. Странная и как будто беспокойная, что ли».

– Но почему? Почему они сами шли... Так обреченно, как на заклятие? Ведь можно было бороться, сопротивляться? — резко спросила вдруг Аля.

Редников снисходительно усмехнулся:

– Понимаете, они верили... Человек должен во что-то верить, иначе он мертв. Иногда проще бывает сдаться, чем признаться себе, что ты ошибался, что все, во что ты верил, все, что любил, все, что когда-то было дорого, на самом деле лживо и уродливо.

Аля внимательно слушала его, сдвинув золотистые брови, несколько раз кивнула, соглашаясь, и вдруг быстро спросила:

– Дмитрий Владимирович, а вы во что верите?

– Я? — опешил Редников.

Вопрос показался ему слишком личным, не очень-то подходящим для студенческого очерка. Он обернулся к окну, посмотрел на освещенные солнцем ветки яблони во дворе. Одно недозрелое крохотное зеленое яблочко упало на подоконник, и сейчас вокруг него смешно прыгал воробей.

«Во что вы верите?.. Хороший вопрос на пятом десятке жизни... Что ей ответить? Показать себя престарелым напыщенным болваном как-то не хочется...»

– В искусство, в профессию, в свою страну, в народ, в правду... В любовь, в конце концов. В нормальные вечные человеческие ценности. Их не так уж мало, как видите. Еще верю, что вы напишете замечательный очерк и Ковалев будет вас хвалить и назначит повышенную стипендию.

От его слов Аля словно пришла в себя, стряхнула оцепенение, вернулась к столу, стала быстро забрасывать вещи в сумку, прощаться.

«Ну вот, расстроил девочку, — решил Редников. — И о кино поговорить не удалось. Пожалуй, надо еще раз с ней встретиться. Пускай действительно хороший очерк напишет. Славная девчушка. И смотрит такими глазами...»

– Знаете что, Аля, — предложил он, прощаясь. — Приезжайте-ка вы ко мне на съемочную площадку. Там своими глазами и увидите, как снимается современная антисоветчина.

– Ой, это было бы здорово! — Лицо ее осветилось улыбкой. — А можно?

– Ну конечно, — кивнул Редников. — Давайте хотя бы завтра. Приезжайте прямо сюда к десяти утра. За мной машина придет, вот вместе и поедем.

– Тогда до свидания, — обернулась Аля уже от дверей. — До завтра!

Никита давно уже дежурил у ворот дачи, поджидая, когда наконец появится их утренняя гостья.

«Чувиха что надо, — это он сразу отметил. — Правда, с характером. Ну ничего, мы ее пообломаем. Преподнести, что ли, ей флакон „Magie Noire“? Что-нибудь типа: „Мадемуазель, еще в далеком Париже я видел вас во сне и приобрел эту безделицу для вас...“ Духи, правда, для Таньки вез... Да ну ее, еще в прошлом году надоела. А папеч-то хорош! „Познакомься, Аля, студентка...“ Сам-то только и

ждет, чтобы вокруг крутились юные поклонницы и в рот ему заглядывали. Надувается от удовольствия, как индюк. Очерк о нем приехали писать, „гениальный Редников, нестареющий кумир молодежи“... Хоть бы матери постыдился! Мало она из-за него мучилась?»

Никита помрачнел и яростно втоптал в землю окурок «Голуза». И тут на дорожке появилась Аля. Никита, юркнув за дерево, выждал до последнего и выскочил прямо перед ее носом.

– Мое почтение, мадемуазель!

Аля вздрогнула от неожиданности, но посмотрела на него не сердито, а как-то равнодушно, словно и не замечая, как будто мысли ее были заняты чем-то совсем другим. Это Никите не понравилось.

– Ну как, папаша мой, великий и ужасный Редников, произвел неизгладимое впечатление? — развязно осведомился Никита.

– Произвел, — отрезала Аля.

– Ну еще бы, монумент! Роль человека в обществе! — насмешливо закивал парень.

Кажется, в этих словах прозвучало чуть больше злости, чем иронии. Аля попыталась обогнуть его, пройти к калитке, но Никита снова преградил ей дорогу.

– Куда же ты спешишь, прекрасное дитя? Побудь еще немного со мной. Не будем забегать вперед, но ты мне уже нравишься.

Он попытался приобнять Алю за талию, но получил короткий хлесткий удар по руке и с комическим ужасом отдернул ладонь.

– А у меня интервью взять не хочешь, а? Или весь литературный талант на папочку ушел? Это ты зря... — протянул он. — Я тебе предлагаю эксклюзив — первое интервью восходящей звезды французского кинематографа.

– Думаете, если кепку модную к голове приладили, так сразу и звездой стали? — возразила Аля.

Она сорвала с его головы кепку. Кончики пальцев коснулись виска молодого человека — словно обожгли, и сердце застучало так гулко, что, казалось, она сейчас услышит.

– Верните головной убор! Он дорог мне как память! — заголосил Никита.

– Ловите! — весело крикнула Аля.

Она ловко подкинула кепку вверх. Плоский клетчатый блин взлетел к верхушкам кустов. Никита инстинктивно вскинул руки, а Аля быстро проскочила мимо него и, смеясь, скрылась за воротами.

Кепка шлепнулась в пыль, Никита подобрал ее и принялся с досадой выбивать о коленку.

День клонился к вечеру. Небо над лесом окрасилось багровыми полосами. Смолкли гудевшие в цветах шиповника пчелы. Вдалеке присвистнула, пробегая мимо, последняя электричка.

Уехал приезжавший к Тоне доктор, и Глаша отнесла ей наверх поднос с ужином.

Никита сидел на веранде, на подоконнике, свесив ноги на улицу, курил, поглядывая на дорогу. Под окном появился Дмитрий, в старых резиновых сапогах, растянутым свитере, с холщовым мешком в руках.

— Пойду собак покормлю, — объяснил он сыну. — Ты меня подожди. Я про твою знаменитую документалку послушать хочу.

— Да брось! — картинно отмахнулся Никита. — Что там интересного для гигантов советского кинематографа? Всего лишь первая премия среди студенческих работ.

— Зря ты, мне действительно интересно, — возразил Редников. — Жаль, что пленку не привез. Ну ничего, ты хоть фотографии подготовь, посмотрим.

Он обернулся, посмотрел из-под ладони на играющее красками небо и вздохнул:

— Закат-то какой... Что ж мы на сегодня-то съемку не назначили, такой режим пропадает.

Дмитрий прошел через двор, обогнул дом и вышел через заднюю калитку в овраг. Здесь его поджидали уже деревенские собаки. Редников вывалил из мешка остатки ужина, присел на корточки, потрепал одного пса по загривку, другому сказал что-то, улыбнулся.

Никита, дождавшись ухода отца, метнулся в комнату, выхватил из не разобранного еще чемодана конверт с фотографиями со съемок и засунул его поглубже во внутренний карман пиджака.

«Ну уж нет, — высказался он про себя. — Тебе, дорогой папá, пожалуй, фотки смотреть не стоит. Не твоего масштаба работа. И все-таки придется как-то отмазаться. Сказать, что потерял?» И Никита нервно забарабанил костяшками пальцев по деревянному подоконнику.

За забором застрекотал мотоцикл, остановился у ворот, и знакомый сиплый голос крикнул из-за деревьев:

– Никитос! Ты дома?

Никита так и подпрыгнул на месте от радости:

– Николая! Подожди меня! Лечу!

«Николя правильный чувак, вовремя подкатил, — подумал Никита. — Сбежать из дому и не попадаться папаше на глаза! Завтра у него съемка, а там, глядишь, он и совсем забудет про фотки. У гениев память короткая, у них дела и поважнее есть!»

Он приоткрыл дверь в дом, крикнул:

– Глаша, за мной Колька приехал, передай отцу, что я буду поздно, — и стремглав бросился через сад к воротам.

Режиссер Редников привык каждый день начинать с пробежки. Хорошо было плутать по извилистой лесной тропинке, вдыхая прохладный утренний воздух, чувствуя, как просыпается тело, как приятно тяжелеют мышцы. В эти полчаса он мог спокойно побыть наедине с собой, собраться с мыслями, распланировать время.

Дмитрий Владимирович выбежал из леса, свернул к своей даче и вошел во двор через заднюю калитку. Стянув на ходу футболку, он направился к металлическому рукомоёйнику, прибитому к стене дома, и, нагнувшись, принялся умываться. Холодные струйки воды приятно освежали разгоряченную кожу, катились по шее и спине. Редников с наслаждением расправил плечи.

Он потянулся за висевшим на крючке вафельным полотенцем и вдруг увидел Алю. Девушка стояла в глубине двора, у забора, и смотрела на Дмитрия не отрываясь. Редников неожиданно для себя смутился и прямо с полотенцем направился к ней.

Приехав раньше назначенного времени, Аля не решилась стучаться в мирно дремавший освещенный утренним солнцем дом и ждала во дворе, пока встанут хозяева. Она никак не думала, что столкнется здесь с Редниковым.

Девушка видела, как Митя, не замечая ее, прошел через калитку к умывальнику, как набрал в ладони воды и широким жестом выплеснул ее себе на грудь. Поблескивавшие на золотистом утреннем солнце капли медленно стекали по мужественной шее, покрытой бронзовым загаром груди, развитому скульптурному торсу. Аля оцепенела, как будто перед ней стоял не обыкновенный земной мужчина, а олимпийский бог, ослепительный и неприступный. Митя сунул взъерошенную голову под кран, фыркнул, встряхнул густыми волнистыми волосами, обернулся и увидел ее.

Редников, признаться, совершенно забыл об Але, забыл, что пригласил ее сегодня на площадку, — заработался вчера, снова и снова просматривая отснятый материал. И вот теперь получилось неудобно.

Утреннее солнце осветило застывшую у забора девушку в бледно-зеленом шифоновом платье. И Митя словно впервые разглядел

хрупкую и вместе с тем необыкновенно женственную фигуру Али. В этом платье цвета морской волны, со светящимися в солнечном луче светлыми волосами, она была похожа на диковинного лесного эльфа.

Он подошел совсем близко, улыбнулся приветственно:

– О, это вы? Доброе утро!

И почувствовал запах ее тяжелых русалочьих волос — запах спелых яблок, теплой пшеницы и меда. Аля что-то отвечала ему — извинилась, что приехала раньше, объяснила, что боялась опоздать, пропустить электричку, — Митя уже не слышал. Ему вдруг представилось, что он резким, стремительным движением освободит эти волосы из туго затянутого хвоста, и они распадутся, растреплются по хрупким плечам.

Солнце словно остановилось прямо над ними, обрушило поток яркого, жаркого света на их головы.

Аля прикрыла глаза узкой ладонью.

– Я, наверное, здесь, во дворе, подожду, — смутившись, предложила девушка.

Митя рассмеялся, отгоняя наваждение:

– Ну что вы, Аля, в самом деле. Немедленно проходите в дом. Дождемся машины и поедем.

Дмитрий оставил Алю на веранде, сам же поднялся в спальню, переоделся в светлый летний костюм, повязал галстук, критически оглядел собственное отражение в зеркале. Он, безусловно, неплохо выглядел. И седины совсем немного. Актрисы, конечно, вечно рассыпаются в комплиментах, да верить-то им нельзя, публика насквозь фальшивая. А эта девчушка, Аля, так смотрит, как будто... И ведь, кажется, ей от него ничего не надо: ни роли в новой картине, ни приглашения на кинофестиваль. Искренне смотрит, а это, как ни крути, приятно щекочет самолюбие.

Редников поглядел на часы. Машина должна скоро быть. Он поспешно спустился на первый этаж, предложил Але, сидевшей у стола, чаю. В доме было по-утреннему тихо. Тоня еще не вставала. Только слышно было, как на кухне бормочет что-то себе под нос Глаша.

Дмитрий Владимирович подошел к окну, вытащил папиросу из пачки, лежавшей на подоконнике, закурил. Дверь на веранду

распахнулась, и с улицы появился Никита, сонный, помятый, пиджак весь в пятнах.

«Ночевал неизвестно где, — понял Редников. — А я и не заметил. Черт, надо будет заняться им как следует. Позже, когда с картиной прояснится...»

– Доброе утро! — бросил отцу Никита.

– Спокойной ночи, — съязвил Дмитрий.

Никита, щурясь от яркого солнца, снял пиджак и небрежно кинул его на стул — из внутреннего кармана вывалилась стопка фотографий.

«А, короткометражка его, наверное, — догадался Митя. — Надо посмотреть, пока время есть. А то обижается тоже, что мне его достижения неинтересны».

Дмитрий подобрал с пола фотографии и от первой же опешил. На снимке было изображено черт-те что — не мужик и не баба, какое-то отвратительное существо, наголо выбритое, с намалеванными губами, с массивными бусами на тощей обнаженной груди. На следующей фотографии то же существо сладострастно обнимало дюжего верзилу в ковбойской шляпе. Дмитрий Владимирович, брезгливо отодвинув фотокарточки подальше от себя, продолжал разглядывать: проститутки, наркоманы, изможденные танцовщицы — самое дно Парижа. Так вот за что в Сорбонне дают студентам премии! За эту... похабщину!

«Ну сейчас он получит у меня!» — Редников решительно обернулся к сыну.

Никита тем временем подошел к столу, налил воды из графина, залпом опрокинул стакан и воззрился на Алю.

– О, и пишущая братия уже здесь? Наше вам!

Аля подняла глаза, посмотрела насмешливо:

– Как головной убор, не пострадал?

– Он у него давно пострадал, — бросил Дмитрий, едва сдерживая ярость.

Никита вскинулся, резко обернулся к отцу и, увидев в руках у него фотографии, невольно отступил на несколько шагов, побледнел. Отец же, швырнув в пепельницу недокуренную папиросу, неумолимо надвигался на сына.

– Пойдем-ка побеседуем! — Он махнул головой в сторону комнаты.

— А что, что такое? — Никита пытался говорить с вызовом, но голос звучал испуганно и жалко.

— Да так, ничего! — Дмитрий почти втолкнул его в комнату и плотно прикрыл за собой дверь.

Оставшись одна, Аля медленно поднялась. На веранду доносился громовой голос Мити. Быстро оглядевшись по сторонам, девушка выхватила из пепельницы тлеющий окурочок и поспешно сунула его в рот, резко втянула едкий дым и согнулась в приступе беззвучного кашля. Потом бросила папиросу, дотронулась пальцами до собственных губ и, словно удивляясь самой себе, медленно покачала головой.

Редников-старший яростно мерил шагами комнату.

«Дурак! Безмозглый напыщенный молокосос! Ни черта не знает о жизни, рос как в теплице, у папы с мамой за пазухой. Теперь вот бунтует. Возомнил себя черт-те кем! Он даже и не представляет себе, куда могут завести эти его разоблачительные выходы».

— Что это за мерзость ты наснимал, — начал Дмитрий, медленно, тяжело выговаривая слова. — Эта грязь никакого отношения к искусству не имеет.

— Это «Париж глазами русского», — хорохорился Никита.

«Ведь если узнают, пронюхают, — лихорадочно соображал Дмитрий. — Этот обалдуй, конечно, разболтал все приятелям. Из ВГИКа попрут, это уж как пить дать. „Париж глазами русского“... Может, удастся выдать за антикапиталистическую пропаганду?»

Никита, расценив молчание отца как начало отступления, принялся нападать:

— За эту, как ты говоришь, мерзость и грязь мне первую премию дали. А для тебя, конечно, искусство — это доярок снимать. Трактористов там всяких, передовиков производства... Наши колхозы самые колхозные в мире, так?

— Что ты понимаешь, мальчишка! — взвился Дмитрий Владимирович. — Искусство не должно тыкать носом в дерьмо. В нашей советской стране нет ни проституции, ни гомосексуализма. Или тебе это не известно? И советскому зрителю незачем на это смотреть, ему это неинтересно. Кино должно дарить надежду, радость!

Никита, скривившись в скептической ухмылке, выслушал монолог отца и отвесил ему шутовской поклон — мол, браво, товарищ

Редников, благодарим за пламенную речь.

– Ты бы хоть передо мной не выпендривался! Как будто я не знаю, что ты снимаешь все это благолепие, потому что боишься... Потому что верно служишь им! — Никита махнул рукой в сторону висевшей на стене фотографии, где молодому Редникову вручали Сталинскую премию. — Ну да, у меня же «головной убор не в порядке», я не понимаю ничего, не вижу... И это после всего, что они сделали... Мало тебе родителей твоих, мало того, что мать все эти годы — с тех пор как ты шишкой стал, в загранку ездить начал — в большой дом таскали, психичку из нее сделали... А ты все это терпел, глаза на все закрывал. Да еще и хвалебные оды им пел!

– Ты же видел мои последние материалы, — тихо, все еще пытаюсь побороть заливающий глаза гнев, начал Дмитрий Владимирович.

– А что материалы... — картинно расхохотался Никита. — Ну снял, да... Поигрался в свободу... Ты же все равно все вырежешь, как только ОНИ прикажут! Для тебя ведь никого дороже нету, чем начальственная задница. Вчера, когда у матери приступ был, ты даже с места не сдвинулся. Разумеется, сверху же пришли, нужно прогнуться как следует, а то за очередной эпос премии не дадут!

Уже не в силах сдерживаться, Дмитрий шагнул к сыну и наотмашь ударил его по щеке. Никита отлетел в сторону, впечатался спиной в буфет — и тяжелая хрустальная пепельница сорвалась и покатила по полу.

Никита, с трясущимся лицом, закрыв рукой горящую щеку, продолжал выкрикивать, инстинктивно пятясь от наступавшего отца.

– Ты всю жизнь боялся... — Голос его срывался на всхлип. — Отберут! Снимать не дадут! А то еще посадят! Лишь бы успех, лишь бы премии государственные, полные залы... Чтобы студенткам интервью давать — божество в интерьере, ага? А мать — к черту, да? Лес рубят — щепки летят!

Редников, уже не соображая, что делает, сжимая кулаки, надвигался на сына.

– Герой, — свистящим яростным шепотом произнес он. — Всю жизнь все на блюдечке получал... Сам ничего еще не сделал, ничего не добился. Тебе просто не за что пока бояться, понимаешь? Да ты...

Он занес было руку, Никита в испуге дернулся, вжал голову в плечи, закрыл лицо локтем, и Дмитрий Владимирович, словно очнувшись, в бессилии опустил кулак, произнес глухо:

– Пошел вон отсюда! Засранец!

И тут же в комнату ворвалась Тоня, заслонила собой сына, замахала руками, запричитала:

– Не пуцу, не дам! Оставь мальчика в покое!

Никита пытался что-то еще выкрикнуть из-за плеча матери, но Дмитрий не стал слушать.

Скрипнула дверь, и в комнату робко заглянула Аля.

– Там машина пришла, — осторожно сообщила она.

Тоня вскинулась, недобро посмотрела на девушку, затем на Дмитрия.

– Поезжай, поезжай, Дмитрий Владимирович! Вот и девушка тебя ждет, нехорошо.

«Теперь и этим еще себя накрутит, — вздохнул Редников. — Сочинит какой-то немыслимый роман со студенткой. И снова все эти рыдания, заламывания рук... „Я тебе всю жизнь, а ты...“ Что за черт!»

Он кивнул Тоне и, не глядя на Никиту, вышел вслед за Алей на веранду.

Мосфильмовская машина стояла за воротами. Редников и Аля спустились с крыльца и пошли по вымощенной плитками дорожке. Дмитрий несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь.

Солнце поднялось уже высоко, и в нагретом воздухе разливался запах цветущих деревьев: сладкий, медовый — липовый и горьковатый, терпкий — рябиновый.

Митя взглянул на молча шагавшую рядом Алю.

«Хоть одно человеческое лицо», — хмуро подумал он, но вдруг невольно улыбнулся и взял девушку под руку. Та чуть вздрогнула, обожгла быстрым взглядом, но руки не отняла. Дмитрий чувствовал, как бьется под пальцами тонкая жилка на ее запястье.

«А красивый получился бы эпизод. — Как всегда, в голове стали прокручиваться будущие кадры. — Пара идет по дорожке, над головами смыкаются рябиновые ветки, а впереди, за резным забором, черная машина. Да, машина непременно. Чтобы добавить щемящей нотки, чувства тревоги...»

— А Антонине Петровне сегодня лучше? — нарушила молчание Аля.

Дмитрий очнулся от своих мыслей и рассеянно кивнул — лучше, да. Аля взглянула на него, как будто не решаясь задать какой-то вопрос, и Дмитрий, опережая ее, сказал:

— Тоня очень хороший человек. У нее дар редкий, сочувствовать умеет, сопереживать. Как никто. Я сразу это понял, при первом знакомстве. Знаете, как это произошло?

Редников начал рассказывать, и Аля, слушая его, словно видела перед собой продолжение вчерашнего фильма, «повести о моем детстве».

По улицам послевоенной Москвы спешат счастливые, радостные люди. Страшное осталось позади, наступил мир, вернулись с фронта отцы, братья, мужья. Да и день на удивление солнечный и теплый. Прыгают по лужам смешные взъерошенные воробьи, заливаются радостным звоном трамваи, школьники играют в футбол на асфальте.

Дима, молодой парень, выпускник ВГИКа, спешит по улице. Он необычайно весел, широко улыбается, поддает ногой мяч футболистов, на ходу помогает пожилой женщине взобраться на подножку трамвая, вбегает во двор своего дома и встречает приятеля.

— Большие новости, — на бегу сообщает он другу. — Госкино деньги выделило на съемки. На Урал уезжаю снимать.

— Ну давай, Эйзенштейн! — несется ему вслед.

А Дима уже взлетает вверх по лестнице и открывает ключом дверь коммунальной квартиры.

Он вбегает в комнату и тут же останавливается, увидев лежащего на полу Тима, горбится, точно на плечи вдруг упал большой груз. Пес очень стар, морда его наполовину седая. Он хочет вскочить навстречу Диме, но это не удается ему, он лишь с трудом приподнимает голову.

Дима садится на корточки рядом с ним, проводит ладонью по спине. Собака смотрит на хозяина большими преданными глазами.

— Что ж ты, Тим Димыч, — потухшим голосом произносит Дима. — И не ел ничего опять. Что ж ты меня подводишь? Нам ведь на Урал с тобой ехать...

Тим опускает голову на лапы и тихонько вздыхает.

И вот уже Дима в режиссерском кресле. Лицо у него мрачное, усталое, между бровями залегла глубокая вертикальная складка.

— Всем спасибо, снято, — объявляет он в мегафон. — Там обед привезли, идите.

Группа разбредается по широкой, простирающейся до горизонта степи. На ветру колышется бесчисленное множество разноцветных тюльпанов, весело подмигивает солнце, но Дима, словно не замечая ничего вокруг, устало подходит к передвижному вагончику, в котором размещается его временный рабочий кабинет.

Он поднимается в вагончик, садится на раскладной стул, закуривает. Через секунду к нему заглядывает молодая улыбчивая буфетчица — это Тоня.

— Дмитрий Владимирович, а вы что же обедать не идете? — заботливо спрашивает она и, не дожидаясь ответа, быстро говорит: — Давайте-ка я вам сюда принесу!

Тоня хлопчет вокруг Димы, расставляя на раскладном столике тарелки с супом и картофельным пюре с котлетой. Изредка она поглядывает на молодого режиссера как-то ласково-встревоженно, почти по-матерински.

— Вот... И картошечка ваша любимая, и чаек... Все, как вы любите... Да что же вы, Дмитрий Владимирович, лица на вас прямо нет. Может, случилось у вас чего, беда какая?

Ее простоватое доброе лицо выражает неподдельное участие, и Дима неожиданно для самого себя отвечает:

— Тим умер. Мой пес...

— Ой боже мой, несчастье какое! — всплеснув руками, восклицает Тоня. — Вы любили его, наверное, очень? Да вы уж не убивайтесь так. Собачий век, известно, короток. Что уж тут попишешь. А вы-то молодой какой, вам жить надо, работать.

В этот момент интонации ее голоса удивительно похожи на речь Зины, старой няни. Дима поднимает голову, вымученно улыбается. Тоня делает к нему несколько шагов и несмело, зажмурившись, проводит пухлой ладонью по его волосам, испуганно отдергивает руку, но, видя, что он не возражает, склоняется и обнимает его. Дима прижимает Тоню к себе, она подается к нему, широкой ладонью гладит его, и под ее пальцами уходит тонкая

морщина между его бровями, лицо принимает спокойное, умиротворенное выражение. Дима целует Тоню, и она расцветает, глаза ее светятся неподдельным, из глубины души идущим счастьем.

Редников перестал говорить, кивнул шоферу, приоткрыл перед Алей заднюю дверь машины. Аля вскинула голову и резко спросила:

– Вы очень ее любите, Антонину Петровну, да?

– Аля, сколько вам лет? Двадцать? Вы думаете, человеческие отношения определяются только любовью?

– А чем же еще?

– Есть такие понятия, как семья, долг, ответственность...

Мите неожиданно показалось, что он произносит слова какой-то заученной роли. И делает это фальшиво, неискренне. И сам это знает. И девушка, стоящая напротив, тоже чувствует это. Как будто бы он ее предостерегает: «Имейте в виду, я вас предупредил. И за ваши отчаянные взгляды больше ответственности не несу».

– Да сами поймете потом, — Дмитрий досадливо махнул рукой.

– Никогда я этого не пойму! — с вызовом ответила Аля и забралась в машину.

– Как говорится, жизнь все расставит по своим местам, — пожал плечами Редников.

Он захлопнул Алину дверь с чувством, что легко отделался от опасного разговора, обошел машину и сел на переднее сиденье.

День, проведенный на съемочной площадке, показался Але бесконечным. Сначала долго ехали по разбитым деревенским дорогам, машину трясло и подкидывало на каждой колдобине, и один раз Аля больно стукнулась локтем. Митя обернулся к ней:

– Ударились? Давайте посмотрю.

Широкая теплая ладонь легла на ее руку, сильные пальцы ощупали сустав, и от их прикосновения по телу побежали электрические разряды.

– Все в порядке, — улыбнулся Дмитрий. — До свадьбы заживет.

Он отвернулся и заговорил о чем-то с шофером.

Машина остановилась на опушке леса. Здесь уже стояло несколько фургончиков, грузовиков и легковых автомобилей. В глубине среди деревьев расставлены были осветительные приборы. Повсюду суетились люди — устанавливали какую-то аппаратуру, протягивали провода. В стороне, у одного из фургонов, маленькая немолодая женщина, зажав в зубах шпильки, укладывала волосы одной из актрис в пышную, давно вышедшую из моды прическу.

Навстречу Дмитрию Владимировичу бросились сразу несколько членов съемочной группы.

– Дмитрий Владимирович, реквизит до сих пор не подвезли, — тараторил один.

– Стругалев явился под газом, — докладывал второй.

Из-за машины выступила красивая полная брюнетка в темно-синем платье, скроенном по моде 50-х годов, и с уложенными вокруг головы упругими косами.

– Доброе утро, Дмитрий Владимирович, — промурлыкала она и бросила на Митю зазывный взгляд.

«Эта — самая мерзкая!» — скривившись, решила про себя Аля.

Дмитрий Владимирович устремился вперед, в самую гущу народа, на ходу отдавал распоряжения, показывал что-то осветителю, объяснял особенности роли актерам. Ассистентка, коротко стриженная девушка в узких джинсах, притащила ему потертое кожаное кресло, но

Редников не мог усидеть в нем и минуты. Он постоянно окликал кого-то, вскакивал, кричал что-то в мегафон.

Аля растерянно топталась около машины. Ясно было, что Редников забыл о ней: переключился на работу и автоматически выбросил из головы все, что могло его отвлечь. Двое рабочих волокли по земле тяжелый ящик с оборудованием. Один из них случайно натолкнулся на Алю и прикрикнул раздраженно:

– Девушка, ну что вы тут встали как памятник, ей-богу? Отойдите куда-нибудь, не мешайте!

Аля шагнула в сторону, нашла под деревом пустую деревянную коробку, присела на нее и вытащила из сумки тетрадь.

– Вы из какого издания? — резко спросил кто-то у Али над ухом.

Она подняла голову и увидела склонившуюся над ней ассистентку в джинсах. Девушка сурово разглядывала ее.

– У нас не было договоренностей насчет прессы на съемках. — Девушка строго сдвинула брови.

– Я не из газеты, — объяснила Аля. — Я из Литературного института. Я с Дмитрием Владимировичем приехала. Он, наверное, забыл предупредить...

– Да? Ладно, я уточню. — Девушка с сомнением покосилась на Алю и, сунув руки в карманы, двинулась к площадке.

Аля видела, как ассистентка что-то говорила режиссеру, как он отмахнулся от нее: мол, не приставай с пустяками, мне некогда, даже не взглянув в сторону Али.

Она опустила глаза, перечитала вчерашнее: *«Поневоле не останется возможности обращать внимание на личное, мелкое, преходящее»* — и закусила губу. Оказывается, если *«мелкое, преходящее»* касается лично тебя, понять это не так-то легко.

– Все по местам! — скомандовал Редников в мегафон. — Мотор! Камера! Начали!

За деревьями задвигались герои картины, работа началась.

Съемка шла своим чередом. Внимания на Алю больше никто не обращал, и девушке оставалось лишь делать пометки в тетради и надеяться, что в конце концов ей удастся улучшить момент и поговорить с Митей.

Теперь Редников снова казался Александре другим: не таким, как вчера во время визита чиновников, не таким, как сегодня утром на

даче. Это был совершенно новый человек — резкий, властный, с горящими глазами, не видящими ничего, кроме работы. Он прямо-таки царил на площадке.

Редников не отрывался от съемочного процесса ни на минуту. Даже когда был объявлен перерыв и актеры разбрелись по площадке, режиссер продолжал объяснять оператору, как нужно выстроить какой-то кадр. Обернувшись, он поискал глазами исполнительницу главной роли и, не найдя, вдруг наткнулся взглядом на Алю. По этому взгляду девушка поняла, что он совершенно забыл о ней и теперь с трудом вспоминает, кто она такая.

— Можно вас на минутку? — спросил Митя.

И Аля затаив дыхание вышла на площадку. Митя взял ее за руку, подвел к двум сросшимся березам и, надавив сильно на плечи, заставил прижаться спиной к стволу. Аля вздрогнула, почувствовав его горячее дыхание на своей шее. Редников же, бросив ей: «Постойте вот так, пожалуйста», быстро отошел к оператору и, отстранив его, посмотрел в глазок кинокамеры.

Они поговорили о чем-то вполголоса, затем Дмитрий рукой сделал Але знак — спасибо, можешь двигаться. И девушка послушно выпрямилась. Она удивлялась самой себе — кажется, и ее подчинила спокойная, уверенная властность Дмитрия Владимировича.

Аля медленно пошла с площадки, и, когда проходила мимо Мити, тот неожиданно произнес:

— Как вы хорошо смотрите в кадре. Очень кинематографичное лицо!

Он быстро взглянул на нее, а Аля вспыхнула, смутилась и, уже вернувшись к своей коробке, долго не могла унять колотившееся в горле сердце.

А потом перерыв закончился, актеры заняли свои места, и поговорить с Митей Але так и не удалось. Александра с ногами вскарабкалась на коробку, обхватила себя руками и представила, как нынешний эпизод будет смотреться в уже готовой, смонтированной картине.

На березовую рощу опускаются сиреневые сумерки. Тянутся по земле длинные тонкие тени от стройных белых стволов. Из-за двух сросшихся деревьев выглядывает круглолицая женщина с темными

косами вокруг головы. Ее веселые карие глаза так и светятся озорством.

Между берез быстро и легко движется высокий парень с копной светлых кудрей на голове. Он окликает женщину, оглядывается по сторонам, ищет ее. Та прячется от него, тихо смеется. Услышав ее смех, парень направляется прямо к ней. Круглолицая невольно отступает. Мужчина подходит ближе, протягивает руки, с немного наигранной страстью обнимает женщину за талию и неловко пытается поцеловать ее...

— Стоп! — раздается вдруг откуда-то громовой голос.

— Стоп! — закричал в мегафон Редников.

Актер Казначеев в ту же секунду отпустил Светлану, брюнетку с косами. С ее миловидного лица словно ластиком стерли выражение лукавого ожидания и приятного волнения. Она со злостью покосилась на Казначеева, отошла в сторону, нервно прикурила сигарету.

В лесу уже темнело, съемочный день заканчивался, все устали и издергались, а последняя сцена никак не шла.

Редников, сидевший в кресле с надписью «Режиссер» на спинке, задумался, потирая ладонью лоб. К нему вопросительно повернулся оператор. Подошла Светлана и протянула глубоким низким голосом:

— Ну что, Дмитрий Владимирович?

— Сейчас, погодите! — Редников сосредоточенно хмурил лоб, пытаясь понять, чего не хватает последней сцене. — Сергей Петрович! — окликнул он наконец Казначеева. — Подойдите, пожалуйста!

К режиссерскому креслу не спеша приблизился исполнитель главной мужской роли. На его холемом, смазливом лице застыло капризно-брезгливое выражение.

— Будьте добры, присядьте, пожалуйста, — пригласил его Редников, уступая актеру свое кресло.

Казначеев с недовольной миной плюхнулся на режиссерское место, а к нему уже спешила ассистентка Леночка с кружкой домашнего компота. Але, проведшей на площадке весь день, уже успели объяснить, что Казначеев — лучший актер прошлого года по опросу журнала «Советский экран», потому он и бродит по площадке с надменно задранной носом, потому и приходится считаться с его капризами.

— Вот посмотрите, — обратился Дмитрий к Казначееву и шагнул на площадку.

Светлана заняла свое место между двух берез. Засуетились осветители за ярким кинофлю, электрический свет, упав на лицо Светланы, сделал его еще ярче и выразительнее. Оператор повернулся к камере.

— Мотор! Камера! Начали! — скомандовал режиссер.

Казначеев высокомерно щурился поверх стакана с компотом. Аля подошла ближе и, затаившись, пристально смотрела на происходящее на площадке.

Митя, ступая мягко, бесшумно, крадучись движется между стволов берез. Во всей его фигуре чувствуется какая-то природная грация, грация большого сильного зверя. Он чутко прислушивается, за деревьями едва улавливает смех и, не торопясь, уверенный в своей власти над смеющейся женщиной, движется на звук.

Увидев его, Светлана хочет спрятаться, убежать, но, замороженная его взглядом, остается на месте. Митя приближается к ней, сильной рукой привлекает к себе. Она припадает к нему, все ее тело делается мягким, податливым. Митя властно запрокидывает ей голову, целует, глядя прямо в глаза. Оторвавшись на секунду от его губ, Светлана хрипло шепчет:

— Ты...

— Вот примерно так. Согласны, Сергей Петрович? — спросил Дмитрий Владимирович, выходя из кадра и направляясь к своему месту.

Казначеев рассеянно покивал, вернулся на площадку. Редников дал команду, и съемка сцены пошла еще раз. Но Аля уже не смотрела, отошла в сторону, снова присела на коробку.

«Эта Светлана влюблена в него, понятное дело, — думала девушка, чертя бессмысленные значки и полосы в тетради. — И, кажется, между ними что-то есть. Но как же тогда „семья, долг“? Значит, не все так однозначно?»

Она оценивающе взглянула на актрису, отметила полные чувственно приоткрытые губы, светящиеся бесстыжие глаза, белую круглую шею, обрамленную кружевным воротником старомодного платья. Женщина, безусловно, была хороша собой.

«Ненавижу ее!» — вдруг поняла Аля. Она с силой стукнула костяшками пальцев по краю коробки и отвернулась.

Наконец сцена была отыграна. Редников поднялся с кресла и объявил:

— Смена окончена. Всем спасибо за усталость!

Члены съемочной группы начали расходиться с площадки. Скрылся в фургоне Казначеев, прошел, разминая затекшую шею, оператор, осветители сворачивали оборудование. Дмитрий Владимирович закурил папиросу, перебросился парой слов со вторым режиссером. Аля поднялась наконец с коробки, на которой провела почти целый день, хотела подойти к Редникову, но тут как из-под земли возникла вездесущая Светлана.

Она успела уже переодеться в джинсовую юбку и алую блузку с большим вырезом. Теперь женщина шла на Дмитрия, надвигалась на него обтянутым алым шелком бюстом, выставив его вперед, как бушприт корабля. Остановившись перед Редниковым, Светлана сказала ему что-то, склонила голову к плечу и маняще улыбнулась. Дмитрий взглянул на нее рассеянно, мысленно еще находясь в съемочном процессе.

Аля стояла поодаль, не зная, что делать.

«Как бы там ни было, а я не уйду, не поговорив с режиссером, — с мрачной решимостью подумала она. — Когда-нибудь угомонится же эта Светлана».

Неожиданно у обочины притормозило такси, из которого выскочил Никита и, открыто улыбаясь, направился к отцу. На плече у него висела объемная, видимо тяжелая, сумка.

Аля не могла поверить своим глазам. Неужели после утренней сцены он вот так просто приехал к отцу? Или тут что-то кроется?

Никита подошел к Дмитрию, поздоровался, тот ответил на приветствие, затем помрачнел, вспомнив о ссоре.

— Ты извини, что так вышло утром... — неожиданно выпалил Никита. — Я же забыл... Прости меня... — Он помолчал немного и сказал с усилием: — Папа...

Редников недоверчиво посмотрел на сына. Тот ответил добродушным, открытым взглядом. Дмитрий Владимирович хлопнул Никиту по плечу, пробормотал:

— Ладно уж, кто старое помянет...

— Ну вот и прекрасно, — задушевно улыбнулся Никита. — А раз уж у нас дома так вышло, так хоть здесь отметим по-человечески.

Редников нахмурился, хотел что-то возразить, но сын уже трижды хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание, и, убедившись, что на него обернулись, громогласно провозгласил:

— Товарищи кинематографисты! Мой скромный отец, конечно, не сказал никому о том, что сегодня у него день рождения. И тем самым пытался скрыть от вас прекрасный повод выпить за его здоровье. Что я и предлагаю сделать прямо сейчас!

Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Несколько человек приблизились к Дмитрию Владимировичу, посыпались поздравления. Никита, довольный произведенным эффектом, подошел к раскладному столу, на котором накрывали обед, и принялся вытаскивать из сумки припасы — бутылки с коньяком, шампанское, палки финского сервелата, жестянки с консервами.

Ассистентка Леночка суетилась рядом, расставляла складные табуретки. Из-за кустов появился оператор, волоча за собой здоровенное бревно, и пристроил его возле стола в качестве дополнительного посадочного места. Кто-то уже доставал жестяные кружки, миски, разнокалиберную посуду.

Редников шагнул к деловито нарезавшему колбасу Никите, сказал вполголоса:

— Зря ты это устроил, ей-богу. Посидели бы лучше дома, с матерью, по-семейному.

Никита обернулся к отцу, окинул его подчеркнуто простодушным взглядом, ответил с едва заметной издевкой:

— Да ведь твоя настоящая семья здесь, разве не так?

Аля растерянно вертела в руках тетрадь, наблюдая за неожиданным превращением съемочной площадки в банкетный зал. Что делать дальше, девушка не знала. К столу ее никто не приглашал, где ближайшая автобусная остановка, не сказали, отвезти ее в Москву никто не предложил. Поговорить с Дмитрием Владимировичем так и не удалось. Светлана, подхватив именинника под локоть, тянула его к столу и, кажется, не собиралась отпустить ни на секунду.

Мимо притихшей Али прошел Никита, увидев ее, резко остановился, изобразил замысловатый ернический поклон.

— Контора все пишет?

– А... Это вы, восходящая звезда в кепке... — рассеянно протянула Аля.

Никита проследил направление ее взгляда, увидел суetyщуюся возле Редникова Светлану и, приобняв Алю за плечи, повел ее к столу, приговаривая:

– Не удалось пообщаться с именинником, да? Тяжелая артиллерия подступила? Я с детства удивлялся: чего это киношное бабье на нем виснет? Чего он им дался? Мужик как мужик, хоть и батька мой...

– Завидуете? — вскинулась Аля, ловко выскальзывая из-под его руки.

– Чему там завидовать? — хохотнул Никита, кивнув в сторону Светланы. — Буренка в мини. Не мой типаж.

Аля рассмеялась. Никита подвел ее к столу, усадил на табурет. Напротив, через стол, сидел Дмитрий Владимирович. Светлана устроилась рядом с ним, преданно заглядывая в глаза, накладывала закуски в тарелку. Казначеев брезгливо косился в кружку с изрядной порцией коньяка. Вся съемочная группа постепенно рассаживалась вокруг стола.

– Внимание! — Никита постучал перочинным ножом по металлической миске, изобразил на лице комичную гримасу бывалого конферансье. — Сегодня моему досточтимому отцу, выдающемуся режиссеру советского кинематографа, лауреату многочисленных премий, исполняется сорок пять лет. И я просто мечтаю послушать тосты в его честь!

Редников, чувствуя, что Никита затевает цирковое представление с ним в главной роли, пристально посмотрел на сына, тот же невинно захлопал ресницами — что ты, мол, для тебя стараюсь.

– Тем более что наш любимый Дмитрий Владимирович этого вполне достоин, — подхватила Светлана.

– Вот-вот, — закивал Никита. — Не стесняйтесь, товарищи, выкладывайте, все что думаете про моего знаменитого родителя.

Он сел рядом с Алей и добавил вполголоса, но так, чтобы слышал отец:

– А мы тут ставки будем делать, кто кого перецеголяет в излияниях.

Чествование шло своим чередом. Уже совсем стемнело, свет от фар фургонов падал лишь на заставленный грязными тарелками и

пустыми бутылками стол посреди поляны. В воздухе тонко звенели комары. А вне освещенного круга тревожно шумел ночной лес. И было видно за деревьями, как медленно выползала из-за горизонта круглая темно-желтая луна.

Кто-то уже задремывал, свесив голову на грудь, кто-то оживленно спорил о чем-то с соседом, из-за грузовика доносился приглушенный женский смех.

Аля взглянула на Митю. Он сидел напротив, устало склонив голову, положив на стол крупные загорелые руки. Видно было, что празднество утомляет его, время от времени он посматривал на часы и машинально оглядывался в сторону поджидавшей машины. Заметив это, Светлана склонилась к Дмитрию и горячо зашептала что-то на ухо.

— А кто еще не говорил тост? — пьяно спросил вдруг оператор, взявший на себя обязанности распорядителя торжества. — Ну-ка, ну-ка...

Он окинул сидящих мутноватым тусклым взглядом и неожиданно остановил его на Але.

— А-а-а... — радостно протянул он. — Вот девушка у нас уклоняется... Девушка, а ну-ка скажите что-нибудь хорошее Дмитрию Владимировичу. Давайте-давайте, не отмалчивайтесь...

Оператор подскочил к Але и, потянув ее за руку, заставил встать. За столом притихли. Але неуютно было под любопытными взглядами почти незнакомых людей. Она исподлобья окинула взглядом стол:

«Вылупились... Чтоб им провалиться!»

— Давай, мать, переплюнь их всех. Ты ж писатель! — прошептал над ухом Никита.

Аля собиралась с мыслями: «Сказать? Что же сказать? Громоздить, как все, эти приторные, слащавые, ничего не значащие слова. Рассыпаться в фальшивых поздравлениях перед... ним? Ну уж нет! Раз так вышло, то правду, только правду».

Аля перевела дыхание, подняла глаза и выговорила звонко:

— Я не знаю, что сказать... Дмитрий Владимирович, я познакомилась с вами недавно... Мне кажется, вы очень мужественный человек и очень настоящий. Спасибо вам, что вы... вы есть!

Аля залпом выпила вино и, опустошенная, опустилась на свое место.

Сидящие за столом переглядывались. Светлана зашептала что-то соседке, бросая на Алю злобные взгляды.

«Наплевать!» — решила Александра. Она не видела, как зорко, с язвительной улыбкой глянул на нее Никита. Как он перевел прищуренный взгляд на отца, заметил что-то необычное в его лице, вскинул брови.

— Аля, спасибо! Мне очень приятно было услышать от вас такие слова, — заговорил наконец Митя. — Надеюсь, вы не измените ваше мнение обо мне, когда ваш очерк о советском кино, и в частности о моем новом фильме, опубликуют в «Правде».

И все засмеялись облегченно, неловкость исчезла. Разговоры за столом возобновились, Светлана, снова нацепив на лицо широкую открытую улыбку, повернулась к Редникову. Казначеев, пьяно икнув, завел какую-то длинную, никому не интересную историю, оператор выискивал новую жертву для следующего тоста.

Дождавшись, когда про нее забыли, Аля тихонько вышла из-за стола, отошла в темноту, за деревья, и приложила ладони к горящим щекам. Сердце бешено колотилось в груди.

«Дура! Вот дура!» — твердила Аля самой себе.

Звуки застолья сюда почти не доносились. Вдалеке ухала какая-то ночная птица. Было душно, кажется, собиралась гроза. Сквозь деревья было видно, как в небе, над шоссе, полыхают зарницы. Девушка подошла к березе, обняла руками белый ствол и прижалась к нему, ощутив лбом шершавую кору.

Кто-то бесшумно подошел сзади, горячая ладонь легла на плечо. «Митя!» Сердце подскочило куда-то в горло. Аля резко дернулась, всем телом повернувшись к стоявшему позади мужчине. Прямо ей в лицо нахально ухмылялся Никита.

— Уж сказала так сказала... — насмешливо пропел он.

— Идите вы знаете куда, — со злостью выдохнула Аля, вырвалась и быстро побежала к шоссе.

В небольшой, заставленной тяжелыми деревянными партами аудитории было душно. Из окна виднелся институтский двор, небольшой серый памятник, спрятавшийся среди темной, запыленной листвы. Откуда-то с запада напоззала черная, с багровыми подпалинами туча.

Ленивые полусонные студенты, недовольные тем, что защиту преддипломной практики назначили на середину лета, горбились за партами, зевали, чертили что-то в раскрытых тетрадах. С кафедры увлеченно вещал докладчик, рядом с ним, за преподавательским столом, разместился руководитель семинара Ковалев.

За последней партой сидел специально приглашенный на семинар гость — Дмитрий Владимирович Редников. Ковалев позвонил ему несколько дней назад, объявил, что очерк его студентки Александры Лавровой оказался одним из самых удачных, попросил поприсутствовать на защите.

Редников не был уверен, что ему стоит приходить на семинар. Более того, он был убежден, что делать этого не следует. После тоста, произнесенного Алей на этом дурацком, затеянном Никитой торжестве, он уже не сомневался, что девушка всерьез им увлеклась, и понимал, что общение их лучше прекратить сейчас, пока все это не зашло слишком далеко. Потом вдруг звонок Ковалева, приглашение в Литературный институт. Редников в первую минуту хотел отказаться: много дел, проблемы с последней картиной, жена опять нездорова. Тем более семинар был назначен на ту же дату, что и обсуждение снятых им крамольных сцен на «Мосфильме». Но... почему-то не отказался. Неудобно было подводить старого товарища, вероятно, тот объявил уже своим студентам о его приходе и те теперь ждут его появления. А девушка, лесной эльф... Что ж, он не искал встреч с ней, вины его в том, что они увидятся, не будет. Но хочется-то как ее увидеть... Очень хочется.

И вот теперь она сидит за партой прямо перед ним. На ней светлое летнее платье с круглым вырезом и короткими рукавами, волосы собраны на затылке, лишь один пшеничный завиток спускается по

шее. Сквозь тонкую материю видны напряженная, вытянутая в струнку спина, хрупкие плечи. И весь ее облик кажется таким незащищенным, трогательным. И пахнет от нее полевыми цветами. Редников непроизвольно потянулся к ней так, как будто собрался дотронуться до манящей шеи девушки, и лишь огромным усилием воли заставил себя убрать руку...

За окном вспыхнула молния, громыхнуло, и на тихий сонный сквер обрушился дождь. Студенты зашевелились за партами, словно просыпаясь, долговязый оратор за кафедрой зашелестел бумагами, заканчивая речь:

– Мне кажется, у Лавровой очень живой и яркий слог. Кроме того, она хорошо умеет видеть и чувствовать детали. Благодаря этому герои ее очерков сразу предстают живыми людьми, а не бумажными фигурами. Очерк мне понравился, Александра, безусловно, молодец.

Докладчик сошел с кафедры. Ковалев снял с носа очки, повертел их в пальцах и торжественно провозгласил:

– Ну что ж, друзья, сегодня вы были на редкость единодушны. Я тоже не стану исключением. Мне кажется, эта работа — большой шаг вперед для Александры. Мы можем ее поздравить. И еще хочу поблагодарить моего товарища Дмитрия Владимировича Редникова за то, что он, несмотря на свою занятость, согласился помочь Але в работе над очерком и даже пришел к нам сегодня на семинар. А вы что скажете, Дмитрий Владимирович? Как по-вашему, справилась ли Лаврова с заданием? Ведь вам как никому другому известны будни советского кинематографа.

Редников поднялся, увидел, как быстро оглянулась на него Аля — лицо напряженное, щеки чуть порозовели. Студенты посматривали на него с любопытством — еще бы, не каждый день в институт приходит знаменитость.

– Очерк показался мне интересным и... необычным, что ли, таким «нелакированным». У Александры хороший слог, язык ее текстов легкий, образный. Я думаю, ее ждет большое будущее.

Ну вот и все. Теперь студенты разойдутся, а Дмитрий останется еще поболтать с Ковалевым. И ему совсем необязательно говорить какие-то слова лично Але, вполне достаточно этого небольшого выступления.

Ковалев объявил об окончании семинара, студенты двинулись к выходу. Аля задержалась в дверях, снова быстро взглянула на Редникова и вышла.

Поговорив с Ковалевым минут двадцать, Редников посмотрел на часы. Время еще было. Он с досадой вспомнил о вечернем заседании на «Мосфильме». Снова эти рожи... Будут брызгать слюной, картинно закатывать глаза, трясая жирными животами, вещать о роли киноискусства в период активного построения социализма. Начнется жонглирование высокими словами — художественная правда, ответственность мастера, народ... Скулы сводит от этих бесконечных разговоров. Потом станут заискивать, давить на тщеславие: «Дмитрий Владимирович, вы же наш народный режиссер, властитель дум, так сказать. Именно от вас зритель ждет жизнеутверждающего, оптимистичного полотна. Вы, с вашим талантом, как никто способны...» Нет уж, дудки! На этот раз он не вырежет ни одного кадра. Хватит!

О жестяной подоконник молотил дождь. Студенты во дворе смешно прыгали через лужи, бежали, натянув на головы куртки, толкали друг друга, хохотали. Али среди них, кажется, не было.

Редников распрощался с Ковалевым и пошел к выходу.

Впрочем, может быть, кое-что все-таки придется подсократить... Чем черт не шутит, ведь закроют картину, не посмотрят на регалии. И тогда вообще никто и ничего не увидит. Да и потом снимать не дадут. И останетесь вы, Дмитрий Владимирович, со своей исторической правдой наедине. Может быть, кое-где он действительно пережал... Одно дело — реальность, а другое — художественное произведение. Нужно, наверное, смягчить краски...

Редников шел по пустому коридору, насвистывая мотив довоенного танго, и впереди, у лестницы, увидел Алю. Девушка на коленках стояла на широком старинном подоконнике и, высунувшись на улицу, ловила в ладони струи дождя. Набрав полные горсти воды, она плеснула на лицо, провела руками по щекам, умываясь, и вдруг, услышав его шаги, обернулась.

— Вы сейчас в общежитие? — спросил Редников. — Пойдемте, я вас подвезу.

И только потом вспомнил, что собирался в дальнейшем избегать встреч с Алей. Впрочем, что ж, не идти же ей под дождем, в самом

деле.

Митя подал Але руку, они спустились вниз по лестнице, прошли рядом по коридору и очутились на крыльце.

— Вам правда понравилось? — спросила Аля.

— Ну конечно. Я же сразу говорил, что у вас все получится... — кивнул Митя.

Дождь лил все сильнее. Время от времени небо рассекали надвое вспышки молний. Дворники трудились не переставая, разгоняя потоки воды с лобового стекла. Пахло озоном.

В машину дождь не проникал, но обстановка — Митя чувствовал это каждым нервом — была не менее грозовой. Слово напряжение, висевшее в воздухе, стреляло электрическим разрядом при любом неосторожном слове или движении. Вот оно щелкнуло по пальцам, когда Митя, потянувшись за сигаретами, случайно задел рукой Алины колени, выстрелило, когда Аля быстро произнесла: «Здесь налево, пожалуйста!», обожгло взглядом серых глаз.

Прикурив одну папиросу от другой, Митя взглянул на часы.

— Вы опаздываете? — спросила Аля.

— Нет. — Он покачал головой. — Время еще есть.

— А вы куда потом?

— На ковер. — Он мрачно усмехнулся.

— Из-за тех сцен? Но ведь вы говорили, это все правда... И вы это знаете, и они знают, и даже зрители... Не понимаю. Зачем же тогда скрывать? Игра в прятки какая-то...

— У всех своя работа, — пожал плечами Митя. — Моя работа — пытаться протащить правду, их работа — стараться ее прикрыть. Приходится находить какое-то равновесие, разумный компромисс, понимаете?

Аля неожиданно вскинулась, выпрямилась на сиденье, повернулась к Мите:

— Значит, вы согласитесь? Вырежете те сцены, да?

— Кое-что подсократить придется, — хмуро ответил он, глядя на дорогу.

— То есть людям достаточно и полуправды, так, что ли? — продолжала допытываться Аля.

Редников вывел машину на мост. Дорога была отвратительная — скользкая, неровная. И не видно ничего из-за дождя. А тут еще

разговор этот.

—Лучше полуправда, чем правда, которую никто не увидит, — ответил он.

—Никто никогда ничего не увидит, если не бороться! — резко бросила Аля.

Редников только на секунду отвлекся от дороги, и машину тут же занесло, закружило. Дмитрий вцепился в руль так, что заболели пальцы, до отказа выжал тормоз. Откуда ни возьмись, вырос перед лобовым стеклом каменный парапет. Митя изо всех сил навалился на руль, что-то засвистело, заскрежетало под дном кузова, бешено загудел встречный автомобиль, «Волга» ткнулась носом в заграждение и остановилась.

Дмитрий перевел дыхание и, откинувшись на спинку сиденья, вытер пот со лба. Взглянул на Алю. Девушка сидела рядом очень бледная, тяжело дышала и, не поднимая глаз, судорожно разглаживала платье на коленях.

—Видите, Аля, это опасный разговор. Тем более на скользкой дороге, — с усилием улыбнулся Митя.

Аля бросила на него быстрый взгляд, не отвечая, взяла с приборной панели монетку в двадцать копеек, быстро подкинула ее, разжала кулак. Монетка лежала на ладони цифрой кверху.

—Решка! — куда-то в пустоту произнесла Аля.

—Что?

Митя повернулся к ней и осекся, пораженный выражением отчаянной решимости на Алином лице. Девушка стремительно подалась к нему, скользнули по шее ее ледяные пальцы, щеку обожгло легкое дыхание, и совсем близко вдруг оказались губы, нежные, полураскрытые, манящие. Коснуться их — и вся опостылевшая жизнь полетит под откос.

Их лица были совсем рядом, и Митя почувствовал, каким прерывистым стало ее дыхание. Аля вцепилась обеими руками ему в волосы, он, судорожно вздохнув, еще плотнее прижал свою разгоряченную ладонь к ее шее, полной грудью вдохнул ее запах — чудный запах лесных цветов. За окном вспыхнуло, грохнуло где-то совсем близко, почти над машиной, завертелся в голове бешеный вихрь, и Митя, почти не соображая, что делает, обхватил плечи девушки, сжал, стиснул почти до хруста, и прижался к ее губам.

«Я люблю его, — пронеслось лихорадочно в Алиной голове. — Так вот как это бывает по-настоящему. Никогда никого прежде... Только он...»

Где-то там, на улице, резко затормозила машина, водитель, едва не наткнувшись на невидимую в завесе дождя «Волгу», раздраженно ударил по клаксону. Редников вспомнил, что автомобиль так и стоит, ткнувшись носом в парапёт, что за окном будний день, что через час его ждут на «Мосфильме».

«Что это происходит со мной, в самом деле? Что за бред, нелепость?»

— Аля, не надо, — выдохнул он, пытаясь отодвинуться. — Давай не будем делать того, о чем потом пожалеем.

Девушка на секунду отстранилась от него, поглядела прямо в глаза:

— Я не пожалею.

«Ты не пожалеешь... — промелькнуло у него в голове. — Ты — нет. А я?..»

Он резко оттолкнул Алю. Девушка ударилась головой о потолок автомобиля, откинулась на своем сиденье, судорожно потирая висок, посмотрела на Митю непонимающими, расширенными от мгновенного испуга глазами.

В затылке еще стучало как молотком, не давая сосредоточиться. Митя, распахнув дверь «Волги», высунул голову по дождь. Холодные струи побежали по волосам, по шее, стекли за воротник рубашки. Редников глубоко вдыхал прохладный, пахнувший дождем воздух. И постепенно дрожь в руках унялась, лоб посвежел. Митя провел рукой по лицу, убедился, что снова спокоен, и вернулся в машину.

Смотреть на Алю было трудно. Девушка вся сжалась под его взглядом, глядела на него не отрываясь, словно ожидая приговора.

«Надо покончить со всем этим сейчас же. Лучше сразу», — решил Митя.

— Аля, ты... — начал он и тут же сбился, не зная, как ее называть теперь, ты, вы? — Мы неверно друг друга поняли, — нашелся наконец он.

Девушка вспыхнула, потом спросила как ударила:

— Разумный компромисс?

Дмитрий перегнулся через Алино сиденье и распахнул дверь машины.

— Тут немного осталось. Тебе налево, так ведь? — спросил, не глядя на нее.

— Понятно. — Аля выскочила из машины, остановилась, не обращая внимания на дождь. — Спасибо... Что подвезли.

Дверь хлопнула. Митя быстро нажал на газ. «Волга» тронулась, удаляясь от оставшейся на мосту девушки. Редников хорошо различал ее фигуру в зеркале заднего вида. Алино платье тотчас вымокло, подол облепил ноги, жалко обвисли рукава. Она же, словно не замечая этого, стояла на том же месте и смотрела вслед отъезжающей машине.

...Аля вышла из машины под дождь. Белая «Волга» резко сорвалась с места, обдав девушку фонтаном мелких брызг. Она смотрела вслед удаляющейся машине и ничего не могла поделать с накотившей острой, почти физической болью, ощущением только что случившейся беды. Хотелось разрыдаться, размазать по лицу дождевые капли и свою глупую неудавшуюся любовь. Аля злилась на саму себя, до боли сжимала кулаки, проклиная тот день, когда ее угораздило притащиться на дачу к гению советского кинематографа режиссеру Редникову.

Она стояла у парапета моста, безучастно наблюдая, как капает с волос вода, как темнеют ремешки светлых летних босоножек. Неожиданно рядом с ней просигналила машина. Аля вздрогнула и обернулась. Белая «Волга», успевшая объехать мост кругом, снова стояла рядом. Девушка бросилась к машине, опустилась на корточки рядом с приоткрытым окном, понимая, что выглядит глупо, жалко.

— Дмитрий Владимирович, Митя... Вы вернулись? — выдохнула она.

— Вот, совсем промокла, — устало протянул Редников. — Возьми зонтик. До вечера обещают проливной дождь.

Редников нашарил на заднем сиденье темно-синий зонтик, протянул его Але через окно. В ту же секунду «Волга» плавно двинулась с места, будто бы уже никуда не торопясь.

Дождь начал стихать, и небо над Москвой просветлело. Гром ворочался уже где-то вдалеке, на землю падали редкие капли, оставляя в лужах расходящиеся круги. Отовсюду: из подворотен, подъездов, из-под козырьков домов — посыпались люди, захлопали разноцветные зонтики, затопали по лужам мальчишки.

Аля медленно брела босиком в общежитие. Промокшие босоножки она несла в одной руке, темно-синий заграничный зонтик — в другой. Капли отступающего дождя путались в волосах и стекали по шее... Аля считала их про себя: «Одна, две, три...» Она свернула на улицу, ведущую к общежитию, прошла мимо железнодорожного моста. Внизу, тревожно стуча колесами, пронеслась электричка, прогудел в рассеивающемся тумане ливня паровоз.

Впереди уже показалось знакомое кирпичное здание. Аля локтем вытерла глаза, постаралась изобразить на лице приветливую улыбку. Невыносимо было бы сейчас отвечать на участливые расспросы. Она медленно подходила к деревянным дверям. Навстречу попадались спешившие по своим делам однокурсники, Аля здоровалась, кивала в ответ на приветствия, машинально, почти не обращая внимания на тех, с кем говорила.

Она поднялась по лестнице, прошла по коридору и толкнула дверь своей комнаты.

Под потолком плавал, свиваясь в колечки, сизый сигаретный дым, стол был выдвинут на середину комнаты. На застиранной скатерти громоздились разнокалиберные плоски со снедью: банка тушенки, нарезанный черный хлеб, сковородка жареной картошки, пузатая склянка с домашними маринованными огурцами, на блюде кильки в томате. Здесь же выставлены были тонкогорлые бутылки водки, и среди них, как император в толпе подданных, плоская бутылка французского коньяка. На придвинутых к столу металлических общежитских койках расселись Алины сокурсники. Они говорили сразу все одновременно: кто-то, завывая, читал соседу собственные стихи, кто-то рассказывал сдавленным шепотом свежий анекдот, в углу

тренькали на гитаре. Со складной табуретки навстречу Але поднялся Никита.

«Опять он!» — устало вздохнула девушка.

После празднования отцовского дня рождения Никита не оставлял ее в покое. Он появлялся будто случайно то у общежития, то во дворе института, оказывал Але шутливые знаки внимания, сопровождая их пошловатыми шутками. Однокурсницы завидовали ей — еще бы, завела себе кавалера — сына известного папаши, симпатичного, богатого, к тому же только что из-за границы. Никитина клетчатая кепка вкупе с клешеными джинсами, французскими сигаретами и нагловатыми манерами действовали на девиц безотказно. Половина института уже вздыхала по Редникову-младшему, Алю же считали недалёновидной кривлякой.

«Как он сумел в общежитие пробраться, мимо комендантши проскочить?» — рассеянно подумала Аля.

Она прошла в комнату, щурясь от табачного дыма, бросила в угол босоножки, оглянулась по сторонам, не зная, куда поставить сушиться зонтик. Никита суетился рядом, приговаривая:

– Ничего, что мы тут сабантуй организовали? Я подумал, устроим триумфальную встречу будущего лауреата Ленинской премии. Первой степени, разумеется. Даже чужой студак выпросил, чтобы в общагу к тебе пробраться. Ты, надеюсь, прониклась всей степенью моего геройства?

Аля пожала плечами. Никита говорил слишком громко, быстро, у нее начинала болеть голова.

– А ты чего-то невеселая, — заметил Никита. — Устала?

Он стащил с ее плеча сумку, ногой сдвинул в сторону ботинки гостей, освобождая место на полу, раскрыл зонтик и удивленно крутанул его:

– Гм, знакомый зонтик, — хмыкнул он. — Я его на Таити покупал.

Никита с выжидательным интересом уставился на Алю, та, вскинув голову, выдержала его взгляд. «Кто ты такой, почему я должна что-то тебе объяснять, отчитываться? Думай что хочешь...» — приготовилась ответить она на расспросы. Но парень ничего не спросил, лишь перестал ухмыляться обычной нахально-игривой усмешкой и, приобняв за плечи, повлек ее к столу.

— А ну-ка, товарищи, двигаемся, двигаемся, — скомандовал он. — Не видите, у девушки головокружение от успехов.

Усадив Алю на кровать, он пристроился рядом, незаметно для окружающих обхватил горячей ладонью ее запястье и шепнул:

— Ну-ну, ничего...

Никита раздобыл где-то чистый стакан, плеснул коньяка, всунул его ей в пальцы. Аля вскинула руку, выпила. Темно-янтарная жидкость обожгла рот, сбила дыхание, но почти в ту же секунду по телу растеклось тепло и дрожавшие пальцы согрелись.

Аля отставила стакан и попробовала одними губами улыбнуться Никите. И он прямо-таки расцвел в ответ, стал теревить ее, расспрашивать:

— Ну расскажи теперь, как все прошло. Ребята говорили, вроде удачно? И предок мой тебя хвалил...

Время как будто остановилось. То казалось, что бесконечно долго тянется этот дурацкий бессмысленный день, то вдруг замечалось, что солнце, заглядывающее в окно, отражается в еще не высохших после дождя каплях. А Никита все подливал коньяк и гудел над ухом что-то очень смешное. И темное пьяное веселье булькало в голове, и Аля сгибалась пополам от хохота.

— Пойдем, покажу что-то, — предложил Никита.

Аля поймала на себе завистливый взгляд Гришиной, противной сплетницы с третьего курса, уже нашептывавшей что-то соседке, и решительно встала из-за стола, лихо вскинув голову, — подавитесь своей злостью, сволочи:

— Ну пойдем!

Никита, таинственно подмигивая, затащил ее в темный закуток под лестницей, опустился на колени, расстелил на полу газету, достал из кармана спичечный коробок. Аля взяла коробочку, открыла, на ладонь высыпалась какая-то сухая трава.

— Что это?

— Тсс, — Никита приложил палец к губам, соорудил смешную гримасу. — Обезболивающее. Исключительно натуральный продукт. Никакой химии. Рекомендую!

— А, я знаю, — обрадовалась Аля. — Это...

— Да тише ты, — поспешно перебил он. — Образованная какая.

Никита принялся деловито потрошить на бумагу «беломорину», затем с комичной старательностью засыпал в пустую папиросу марихуану. Аля опустилась на пол, прижалась спиной к стене. Темный низкий потолок плавал и покачивался над головой. Никита наконец закончил свои осторожные манипуляции и с гордостью продемонстрировал Але плотный косяк:

– Ну вот, готово!

Воровато оглянувшись по сторонам, он прикурил папиросу, глубоко втянул в себя дым и, не разжимая губ, протянул косяк Але. Та, взглянув на Никитины надутые щеки, расхохоталась. Никита принялся быстро жестикулировать, бешено вращая глазами — мол, кури скорее, не переводи драгоценный товар. Аля послушно взяла косяк, затянулась глубоко, закашлялась. Необычный едкий дым щипал в горле, разъедал глаза. Девушка поморгала, вытерла ладонью выступившие слезы.

– Держи дым подольше, — наставительно произнес Никита.

– Угу.

Она затянулась еще раз, глубже, зажала рот рукой, чтобы не выдохнуть раньше времени. Тело вдруг стало как будто не своим — новым и гибким. И каждое движение казалось удивительно плавным, как в замедленной съемке. Глаза словно заволокло тонкой прохладной пеленой. Мелькавшие в темном закутке неясные тени сделались ярче, стали почти осязаемыми. Аля откинулась к стене и прикрыла глаза.

Рядом вдруг оказался Никита, просунул руку за спину, ткнулся в щеку сухими губами. Девушка, не глядя, оттолкнула его локтем:

– Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.

– Чего? — не понял он.

Аля открыла глаза, перед ней покачивалась Никитина обиженная физиономия. Девушка сипло расхохоталась.

– Ничего, — доверительно зашептала на ухо Никите. — Ты знаешь, у меня глаза как будто покрылись то-о-оненькими льдинками...

– Знаю, — радостно хмыкнул Никита.

На лестнице раздались тяжелые шаги, послышался пронзительный голос комендантши. Никита быстро сунул окурочек в щель за плинтусом, замахал руками, разгоняя едкий дым.

– Сейчас она сюда явится, и придется тебе в окно прыгать. — Аля сложилась пополам от беззвучного хохота.

Никита обхватил ее руками и, зажав ладонью рот, шепнул в ухо:

– Ради вас, ма шер, я готов на все.

Шаги протопали мимо.

– Эх, мать, тебя разобрало, — покачал головой Никита.

– Ничего не разобрало, — насупилась Аля. — Пойдем лучше выпьем еще!

Она решительно направилась вверх по ступенькам, споткнулась, Никита успел подхватить ее, удержать.

– Что выпьем? — возразил он. — Там уж выпили все без нас. И купить негде, магазины позакрывались.

Словно в доказательство, он продемонстрировал девушке наручные часы. Стрелка подползала к одиннадцати. Аля вздохнула удрученно. Откуда-то выплыла мысль: «Сейчас он уйдет, я усну, а потом наступит утро... И все это кончится. Кончится... обезболивающее, как он сказал. И снова будет больно. Не хочу! Не хочу!»

– Знаешь что, — предложил вдруг Никита. — Рванули ко мне. У меня в комнате есть заначка.

– К тебе? — протянула Аля.

– Ну поехали, а? — Никита тянул ее к выходу. — Не бойся, его там нет, — неожиданно добавил он. — Он же к начальству подался, они там допоздна будут заседать, а потом он на квартире останется, чтобы пьяным за руль не садиться... сто раз уже так было.

– Кого это, «его»? Мне никакого дела нет до твоего отца... Бояться еще!

Показалось, или Никита вдруг быстро взглянул на нее серьезно, даже как-то укоряюще, как если бы и не пил ничего весь вечер, и кивнул удовлетворенно, как будто оправдались какие-то его расчеты.

«Что он такое затевает? А, наплевать!» — Аля тряхнула головой и, стуча каблуками, пошла к выходу из общежития.

Никита поспешил за ней.

– Имей в виду, до шести утра никого не впускаю, — сварливо выкрикнула вслед дежурная.

Ночь была ветреная, тревожная. Когда подъехали к даче, Аля вышла из машины первой, Никита еще расплачивался с таксистом. Зашелестела над головой рябина, несколько холодных капель

скатилось с листьев, обожгло шею. Взревел, проносясь мимо станции, скорый поезд.

«Что я здесь делаю? — Аля оглянулась по сторонам, передернула плечами, поежилась от ночного холода. Из-за темных веток усмехнулся тонкий, выгнутый дугой месяц. — Надо вернуться! Скорее, пока не отъехало такси!»

Но вот уже рядом оказался Никита, обнял теплой рукой, зашептал что-то непристойное, смешное. И опять стало легко и свободно, и жизнь показалась воздушным шариком: дунь — улетит.

Никита бесшумно распахнул калитку, склонился в поклоне:

– Прошу, мадемуазель!

И Аля по плиточной дорожке пошла вперед, чуть пошатываясь.

– Э-э-э, да ты с ног валишься. Держись!

– Ты меня недоо... недооцениваешь, — заявила Аля.

Никита подхватил ее на руки, девушка расхохоталась. Звонкий смех повис в ночной тишине.

– Тише! — шикнул Никита. — Кругом враги!

Аля кивнула на темные окна дома:

– Большой брат не дремлет?

– Дремлет, — заверил Никита. — Но очень чутко! Пойдем.

В его комнате, небольшой и уютной, выходящей окнами в заботливо выращенный Глашей сад, действительно нашлась еще одна бутылка коньяка. Никита гордо извлек ее из шкафа, пошарив рукой за аккуратно сложенными стопками чистого белья. Аля прошла вдоль стен, разглядывая потные перекошенные рожи рок-музыкантов на прищипленных к обоям плакатах. Щелкнула по носу Мика Джаггера. Выдернула книгу из толстой стопки на столе, пролистала. Французские буквы сливались в одну неровную убегающую полосу, и Аля не стала дальше читать, отбросила. Никита возился со стаканами. Аля подошла к окну и, распахнув его, взобралась на подоконник. Она вытянула руки, изо всех сил вдохнула ночной воздух и продекламировала:

– Вот так бы подхватила себя под коленки и полетела!

Никита протянул ей стакан с коньяком.

– О! Viv du la de Frans! ^[1] — Аля запрокинула голову, осушила бокал, ухватившись за оконную раму, чтобы не упасть.

–Чувствую, сейчас действительно полетишь, — предостерег Никита.

Он шагнул к ней и на ходу щелкнул выключателем. Свет погас. Аля почти ничего не различала в темноте. Ему же, наверное, хорошо было ее видно на фоне освещенного лунной прямоугольника окна.

–Ну-ка приземляйся скорее! Иди сюда, — сказал Никита где-то совсем близко.

Голос его был приглушенным, чуть хриплым. Он стащил ее с подоконника, рванул к себе. Холодноватый серебрящийся лунный луч словно прожектором высветил из темноты его лицо. В этом необыкновенном таинственном свете Никита выглядел старше и опытнее, чем обычно. И ярче, притягательнее оказалась его красота — лунная, мраморная... Прямой, правильной формы нос, четко очерченные скулы, миндалевидный разрез глаз. Рубашка на Никите была расстегнута, и Аля, оказавшись прижатой к его торсу, всем телом ощутила жар его гладкой кожи. Никита обхватил Алю крепкими мускулистыми руками, зарылся лицом в рассыпавшиеся по плечам волосы и прошептал:

–Мм... Как ты пахнешь...

Аля почувствовала горячие прерывистые движения воздуха на своей шее и поняла, что Никита смеется.

–Никит, ты чего? — пытаюсь высвободиться, прошептала девушка.

–Тише, не мешай, — глухо ответил он.

–Никита, ты меня пугаешь, — попыталась пошутить она.

Никита легко подхватил ее на руки и опустил на кровать.

–Пугаю? — Он улыбнулся, белые ровные зубы сверкнули в полутьме. — А может, я и хочу, чтобы ты напугалась, чтобы выбила из своей башки...

Никита стянул с нее платье и отбросил в угол комнаты. Потом осторожно взял в ладони Алино лицо, секунду всматривался в расширившиеся зрачки девушки.

–Я тебе кого-то напоминаю, так ведь? — спросил с неожиданной злостью. — Отвечай!

–Ты в темноте немного похож на... на... — Аля ощутила, как все сильнее сжимается вокруг ее головы стальной обруч, и выдохнула: — На Дина Рида.

Никита чуть ослабил хватку и принялся целовать Алины волосы, глаза, губы, будто только что встретил ее после долгой разлуки и уже прощался навсегда.

– Господи, какая же ты глупая! — прошептал он, чувствуя, как откликается навстречу его ласкам Алино тело, как поддается ему нежная плоть.

Девушка больше не пыталась сопротивляться, закрыла глаза, и комната снова закружилась, поплыла куда-то, плавно покачиваясь в темноте.

Где-то рядом надсадно верещала птица. Ее хриплый крик неприятно пульсировал в голове. Аля чуть приоткрыла глаза. В лицо яростно било солнце, и было почему-то очень холодно.

Девушка села на постели, сжала гудящие виски, огляделась по сторонам. Распахнутое еще ночью окно хлопало на утреннем ветру. Солнце уже выглянуло из-за зубчатой стены леса и светило прямо в комнату. Рядом заворочался Никита. Аля склонилась к нему, прошептала на ухо:

– Ш-ш-ш...

Он счастливо улыбнулся во сне и перевернулся на другой бок. Удивительно, ранним утром Никита казался совсем юным, почти мальчишкой. Аля осторожно выбралась из постели и прикрыла его одеялом.

Схватив сумку, она быстро спустилась по лестнице, оглядела пустынный сад. Нестерпимо хотелось пить, и девушка, завернув за угол, пробралась на задний двор к висевшему на стене рукомойнику. Нажала на металлический язычок, набрала горсть воды, жадно выпила, облизнула пересохшие губы. Солнце жгло виски, давило на гудевший затылок, и Аля, поспешно стянув платье с плеч, подставила под холодную воду голову, шею, грудь.

Она не слышала, как подъехала к воротам белая «Волга», как скрипнула калитка и во двор вошел Митя, усталый, с посеревшим после бессонной ночи лицом, с запавшими глазами. Он прошел к дому, хотел войти, но, привлеченный шумом с заднего двора, свернул за угол и увидел Алю.

Митя опешил, остановился, растерянный. В первую минуту он ничего не понял, кроме того, что она — эта удивительная светлая девушка, у которой такие честные, душу выворачивающие глаза, от

которой пахнет полевыми цветами, — снова здесь, в его доме, рядом. На миг ему показалось, что он заснул за рулем и вот теперь видит ее. Как красива она, освещенная утренним солнцем. Как золотится ее кожа, как мерцают капли воды, сбегая по ее шее и спине, вдоль позвоночника...

В ту же секунду он нахмурился, отступил на шаг, понял. Словно резкий, быстрый, как вспышка, удар хлестнул его по глазам, по губам, сбил дыхание. Она, которая вчера, в машине, этой же ночью здесь, с Никитой, с сыном, в этом самом доме. Редников зло усмехнулся и впился в дрожавшую на утреннем ветру девушку холодным, беспощадным взглядом.

Аля почувствовала что-то, обернулась, вскрикнула, судорожно прижала к груди руки и застыла, одеревенела под одновременно оценивающим и брезгливым взглядом.

Не говоря ни слова, Митя развернулся и прошел в дом.

Ну вот и все. Аля поняла это так ясно и отчетливо, словно кто-то произнес эти слова над ее головой. Все! Резко выдохнув, она натянула на плечи платье, скрутила мокрые волосы на затылке и быстро, не оглядываясь, пошла к воротам.

* * *

—Так есть хочется... Давайте пойдем в... как это называется, кафе-вагон? — спросили вдруг у меня над головой.

Я дернулся от неожиданности. Прямо в лицо мне улыбались черные, лукавые глаза Софьи.

—Мм... Конечно, — протянул я.

Девушка недоуменно и немного насмешливо вскинула брови, но я, все еще потрясенный только что прочитанным, пока не обрел способности лихо отшучиваться.

Книга меня поразила. Я снова посмотрел на обложку, поискал на форзаце информацию об авторе. Там были лишь обычные в таких случаях три строчки: известный французский писатель, по происхождению из бывшего СССР, новый роман поднимает вечные темы: отцы и дети, чувство и долг, художник и власть и т. д.

В голове у меня шумело. Не каждый день открываешь случайную книжку и читаешь историю, как две капли воды повторяющую некоторые события твоей давно сбежавшей юности. Конечно, какие-то детали изменены, но в общем и целом... Проклятые журналисты, все раскопают!

— Да очнитесь же, это я, Софи. Не забыли? — Моя попутчица кокетливо улыбнулась, давая понять, что забыть ее, разумеется, невозможно. — Вы так зачитались... Занимательное произведение?

— Даже более чем, — качнул головой я. — Напоминает кое-что. Одну историю из жизни широко известной в узких кругах семьи.

— Дежавю? — вздернула бровь Софья.

Сделав над собой усилие, я равнодушно махнул рукой:

— Да вообще все книжки повторяются. Пони бегают по кругу...

— Хорошие не повторяются, — заспорила будущая литераторша. — Только... Как это?.. Эпигоны.

— Знаете что, — перебил я не слишком вежливо, но вряд ли моя невоспитанность могла смутить молодое поколение. — Зачем нам вагон-ресторан? Думаю, можно договориться, чтобы ужин принесли прямо сюда. Мне, кстати, тут обещали балычок...

Я вышел из купе. В коридоре было пусто, горел тусклый свет. Поезд, мерно стуча колесами, летел в ночь. Мелькали за окном телеграфные столбы, голые поля, заброшенные полустанки. На душе было паршиво, и яства, которые сулила проводница, сейчас пришлось бы очень кстати.

Я постучал в купе проводников. Уже знакомая мне волоокая любительница светских хроник заверила меня, что сию минуточку соорудит угощение.

Я вернулся к себе. Софи воровато сунула в сумочку пудреницу. Видимо, поправляла во время моего отсутствия черты фам фаталь.

— Сейчас все будет, — пообещал я.

Софья захлопала в ладоши и в который раз за вечер объявила мне, что я волшебник.

Несколько раз протопала туда-сюда услужливая проводница, и на столе объявился вполне приличный для железнодорожного сервиса ужин: тарелки с ветчиной и соленой рыбой, белый хлеб со следами былой свежести, шкворчащие под алюминиевой крышкой котлеты по-киевски. И даже бутылка белого вина, за неимением салфетки

обернутая полосатой бумажной рекламкой фирменного поезда Санкт-Петербург — Москва.

Я разлил вино. Софья склонилась над столом, подалась ко мне и, поглаживая пальцами тонкую ножку бокала, произнесла:

— Вы все время говорите, известная семья, отец... А вы... *Quel votre travail?* [2]

Я засмеялся. Вот это поворот! Значит, юных парижских чаровниц интересует импозантная внешность потертых джентльменов. А истинные поклонницы твоего творчества носят темно-синюю форму пятьдесят четвертого размера.

— А вы, Софья, кино совсем не смотрите, — подколот я. — Российское кино.

Кажется, мне удалось ее смутить. Девушка настороженно взглянула на меня, гадая, с какой местной знаменитостью она беседует.

— Только старое. Маман меня просвещала. Э-э-э... «Холодное утро», «Февраль сорок третьего».

— А фамилии режиссера не помните? — спросил я.

Софья развела руками, покачала головой, пародируя глубокое раскаяние и смущение от собственного невежества.

— Какой промах для будущего журналиста, — шутливо погрозил пальцем я. — Так вот, эти фильмы снял мой отец, известный в Советском Союзе кинорежиссер. У меня, видимо, дурная наследственность, по его стопам пошел.

— О-о-о, — уважительно протянула Софья.

Кажется, я вырос в ее глазах, а потому она решила удвоить интенсивность своего кокетства — закинула ногу на ногу, оперлась изящным подбородком о руку, облизнула краешек рта. Все это выходило у нее по-детски забавно, и я едва удерживался от улыбки, сохраняя дьявольскую серьезность на лице.

— А вы зачем в Питер ездили? На съемки? — поинтересовалась она.

— Нет, я там проездом был, из Европы...

— А в Европе? Синема-фестиваль? — не отставала Софья.

Я рассеянно кивнул и перевел разговор на другую тему. Уточнять детали мне не хотелось.

— А вы мне дадите интервью? Когда я стану известной журналисткой? — Софья будто случайно задела под столом мое

колени. — Дадите?

— Дам, когда стану великим и ужасным, — машинально ответил я.

— Что? — Она округлила глаза, не понимая. — Это каламбур?

В ту же секунду свет в купе погас, и Софья восторженно вскрикнула. Я повернулся к выключателю — лампочка почему-то не загоралась. В неярком свете луны лицо Софьи изменилось — черты его смягчились, сгладились. Отчетливо бледнели в полутьме лишь высокие скулы да изгиб подбородка. И что-то показалось мне в этом лице до странности знакомым. Так бывает во сне: разговариваешь со случайным собеседником, и вдруг что-то неуловимо меняется, и понимаешь, что напротив тебя сидит уже кто-то другой. Впрочем, я, вероятно, все еще находился во взвинченном состоянии благодаря литературным излипаниям Аль Брюно.

— Софья, простите... а вы... вы красите волосы?

— А почему вы спрашиваете?

Девушка подняла руку, поиграла тонким запястьем, взъерошила темный ежик на затылке.

— Вам не нравятся женщины с неестественным цветом волос?

— Да нет, я просто так спросил... Почему-то показалось, что на самом деле они у вас светло-русые...

Софья загадочно хмыкнула, не отвечая.

Дверь медленно сдвинулась, и всплыла сладко улыбающаяся проводница с двумя подсвечниками, в которых дрожали огоньками маслено-желтые свечи. Проводница водрузила подсвечники на откидной столик, поигрывая бровями, пожелала приятно провести вечер и выкатилась из купе.

— *C'est magnifique!* ^[3] — хрипло прошептала Софи.

Она наклонилась над столом, сложила губы трубочкой и принялась легко дуть на пламя, поглядывая на меня снизу вверх. Должно быть, подсмотрела этот трюк в какой-нибудь французской мелодраме с элементами ненавязчивой эротики.

— Свечи — это так красиво, так торжественно. Как в церкви во время венчания, — продолжала она.

«Однако, у девушки богатый багаж знаний, — усмехнулся я. — Дикая смесь классической русской литературы, французского кино и исконных женских приемов, приправленная непробиваемым апломбом».

— А вы когда-нибудь венчались в церкви?

— Нет, — покачал головой я. — Хотя женат был, и даже не один раз.

— А у нас в семье все не так, — почему-то вздохнула Софья. — Маман не замужем, даже не знаю, была ли. Бабушка — мама говорила — тоже всю жизнь прожила одна. И отца своего я не знаю. Он умер до моего рождения. Вообще у нас это не обсуждается. И я иногда думаю: может быть, он на самом деле живой и здоровый и живет где-то далеко... Меня мамá и по-русски заставляла говорить потому, что это язык моего отца. Это все, что мне удалось у нее выяснить...

Ах вот у нас откуда любовь к немолодым попутчикам. Лакомая пациентка для модного психоаналитика. Чистейший Фрейд.

— Ну, надо признать, ваша маман в этом преуспела. У вас очень хороший, образный язык.

Мы немного помолчали. Софья посмотрела по сторонам, побарабанила по столу пальцами, не в силах придумать новую тему для разговора, потом вдруг вскочила, дернула вниз раму окна. В купе ворвался ветер, со стола слетела измятая салфетка и закружилась по полу. Одна свечка задрожала и потухла. Софья, картинно выгнувшись, высунулась в окно, подставила лицо мелким каплям дождя, пропела:

— Я лечу-у-у! — И скосила глаза на меня, проверяя произведенный эффект.

Меня же промозглый ветер в купе ничуть не впечатлил. Я поднялся и осторожно потянул последовательницу Наташи Ростовской за плечи, чтобы закрыть окно. Софи и не думала сопротивляться, напротив, мягко потянулась за моими руками, откинула голову. Наверное, приготовилась к страстному поцелую. Из-под воротника черного замшевого пиджака выкатился овалный золотой медальон, и я успел поймать его прежде, чем он скользнул на пол.

— Что это? — Я разжал ладонь.

Софья с недовольной гримаской открыла глаза, сердито отняла у меня медальон и, закинув руки за голову, застегнула его на шею.

— Это подарок маман. Тут дата моего рождения.

Она уселась на свое место, надув губы, устала в темное стекло, залпом осушила бокал. В коридоре снова раздались тяжелые шаги нашего сегодняшнего метрдотеля. Проводница быстро постучала

и в ту же минуту всунула голову в купе, с любопытством вращая глазами. Увиденное ее явно разочаровало.

— А я вам... вот, принесла, — обиженно прогудела она и поставила на полку старый раздолбанный магнитофон.

— Хоть какая-то романтика, — ядовито заметила девушка.

— Вы живете в самом романтическом городе на свете и скучаете по романтике?

— Там романтика только для туристов, — отмахнулась Софья.

— Мне кажется, вы не правы, — возразил я. — Я в юности учился в Сорбонне, несколько лет прожил в Париже и считаю...

— О, так мы почти земляки, — обрадовалась Софья.

Мое сообщение придало ей уверенности в своих силах. Вероятно, по ее представлениям, мужчина, проведший юность в Париже, не мог не купиться на обольстительную случайную попутчицу.

— Вы видите, наша встреча была предрешена судьбой, — изобразив на лице мистическое волнение, сообщила мне Софья. — Посмотрите! — Она схватила мою руку и приставила свою ладонь к моей. — У нас даже кисти рук похожи, форма этих двух пальцев, видите? И здесь...

Как ни странно, но девушка была права. У нас с ней и в самом деле оказались похожи руки. И вся эта ситуация: ее ладонь, приставленная к моей, ее тонкое лицо в полутьме комнаты — все это удивительно напоминало что-то из прошлой жизни. Что-то непоправимо ушедшее, почти забытое.

В магнитофоне заиграл оркестр и дребезжащий тенорок запел: «Счастье мое, ты повсюду со мной...» Кажется, этой мелодии было угодно сегодня преследовать меня повсюду.

— Давайте танцевать, — предложила Софья.

И, не дожидаясь ответа, вскочила и протянула мне руки. Мы проделали несколько неловких па. Девушка была довольно сильно пьяна, ее ощутимо покачивало. Поезд резко дернулся, загудел, и Софья, потеряв равновесие, ухватилась за меня, чтобы не упасть. Ее повисшее на моих руках тело, запрокинутая голова, мягкая линия щеки около моих глаз... Все это было уже слишком для немолодого неврастеника.

— Мне кажется, вам лучше прилечь. — Я выключил музыку и щелкнул выключателем.

В купе загорелся тусклый свет. Софи растерянно поморгала, вспылила было:

–Но я не хочу спать! Почему вы так?.. Я не ребенок!

Но я, не слушая, взял со стола книгу и, заявив, что подожду в коридоре, пока она переоденется и приляжет, вышел из купе.

В приоткрытое окно врывался запах осенней ночи, дождя и паровозного дыма. Я сел на откидное сиденье, прислонился спиной к покачивавшейся стенке вагона и снова начал читать.

Часть вторая

*Даже на камнях растут цветы,
Даже любовь умеет ненавидеть...*

Ш. Бодлер

Осенний ветер, влетев в подворотню, разметал мусор, прокатил по асфальту пустые пивные бутылки, просвистел дальше, во двор, загремел по крышам, захлопал дверями подъездов, заглушая доносившийся с улицы грохот оркестра.

— Проходит колонна демонстрантов московского завода... — торжественно рокотал динамик с Красной площади.

Никита высунулся на улицу, увидел метавшиеся на ветру красные флаги и принялся пристально вглядываться в плывущую по улице праздничную толпу.

Во рту был противный металлический привкус, голова кружилась то ли от громкой музыки, то ли после вчерашнего. Ныло в висках.

«Где она? — болезненно щурился Никита. — Где эта проклятая сероглазая девка? Если она сейчас не явится, я башку себе об стенку разобью!»

Тем июльским утром он проснулся поздно, в сладкой истоме, не открывая глаз, потянулся к соседней подушке, предвкушая, как смущенно будет улыбаться его ночная гостья. Как быстро поцелует его и отвернется, отыскивая платье. Как он сведет ее вниз, усадит за стол, как ни в чем не бывало поздоровается с отцом. И как вытянется морда у старого черта. Что, обошли тебя, вечный победоносный герой? И кто обошел? Щенок, молокосос, мальчишка.

Никита победно ухмыльнулся, провел рукой по пустой подушке и в недоумении открыл глаза.

Али не было. Ни в постели, ни вообще в комнате. Чернела рядом, на откинutom одеяле, изогнутая полоска заколки-невидимки, а Али не было...

Никита потер лоб, поднялся с кровати, поспешно натянув джинсы, вышел в коридор, заглянул в ванную. Никого.

В доме уже проснулись, звенела внизу посуда, пахло свежим кофе. Быстро умывшись, Никита спустился и вышел на веранду. Отец, один, сидел у стола, отхлебывая из чашки. Глаша, тепло чмокнув «дорогого мальчика» в щеку, засуетилась у стола, накрывая завтрак. Никита

прошелся по веранде, выглянул в окно, чуть нарочито, чтобы заметил отец. Но Редников-старший молчал, не достаивая сына и взглядом.

– Ты что-то ищешь, Никитушка? — обернулась к Никите Глаша.

– Не что-то, а кого-то, — подмигнул тот. — Ночевала тут одна... тучка золотая...

И с удовлетворением заметил, как заходили желваки на скулах отца, как поднял тот царственное чело и тяжелым взглядом посмотрел на сына.

– У тебя ведь есть ключи от московской квартиры? — медленно, веско начал он. — Я бы тебя очень просил не приводить своих... мм... женщин сюда, в дом, где живет твоя мать. Это неуважение...

– Мать? При чем же тут мать? — хохотнул Никита. — В дом, где живешь ты, ведь так?

Он ожидал, что отец взвьется, начнет снова его оскорблять. Теперь-то Никита сможет отвечать ему спокойно, с насмешкой, потому что сейчас оба они знают, кто одержал верх. Но Редников лишь сдвинул брови и, тяжело ссутулив плечи, вышел из-за стола.

Радость победы несколько померкла. Никита без аппетита сжевал подsunутую Глашей яичницу, похлебал чая и вышел в сад.

«Все-таки почему же она слиняла, черт возьми?»

Аля не объявилась ни на следующий день, ни через неделю. Однажды Никите удалось подкараулить ее недалеко от института, на Большой Бронной. Александра быстро шла к метро вместе с подругами. Никита, церемонно раскланявшись с девушками, подхватил Алю под руку, увлек за собой, засыпал забавно-нахальными комплиментами. Та же, не принимая обычного шуточного тона их общения, хмурясь и отводя глаза, объявила Никите, что та ночь была ошибкой, что видеться с ним она не может, что просит ее простить и не искать больше. Никита, опешив, начал было требовать объяснений, но Аля, ловко выскользнув, убежала к подружкам и вместе с ними нырнула в подземку.

Никита пытался зацепить ее у общежития, высматривал во дворе института, но девушка не показывалась. Однако Никита заметил кое-что. Однокурсницы Али, завидев его во дворе, начинали многозначительно поглядывать друг на друга, и в конце концов одна обязательно под каким-нибудь предлогом убегала в здание.

«Прячется, — установил Никита. — А френдам велела меня пасти».

Помрачнев, он пнул носком ботинка бордюр и убрался из долбаного институтского сквера к чертям.

«Дура конченная! — решил он. — Еще хвостом будет крутить! Да у меня таких пятнадцать в день... Поеду к Кольке, у того всегда в запасе пара симпатичных чувих».

У Кольки пили. Грохотала на всю узкую продымленную комнату музыка, звенели, сталкиваясь, стаканы, визжали девицы. Никиту встретили восторженными криками. Он сел к столу, опрокинул стопку водки, рассказал свежий анекдот, приобнял за талию хищно оскалившуюся девку — и глухое раздражение, засевшее внутри, стало понемногу отступать, развеиваться в липком дыму.

И он уже сыпал шутками, хохотал, целовался с соседкой, хрипел под гитару модный рок. Но стоило на секунду замолчать, задуматься, прикрыть глаза, и откуда-то всплывало тонкое девичье лицо, заглядывали прямо в душу серые дымчатые глаза, глубокий ласково-насмешливый голос шептал совсем рядом: «Это вы, восходящая звезда в кепке?» И Никита тряс головой, сжимал руками виски, опрокидывал стакан и наливал снова.

Потом, когда не было уже сил пить, он выбрался на кухню, сел за стол, прижался лбом к прохладному боку облезлого металлического чайника. В кухню, пошатываясь, вплыл Колька, хлопнул друга по плечу и, сев рядом, спросил:

— Ты че убитый такой? Водяра не прет сегодня?

Никита поднял на него мутные глаза, вяло качнул головой. Колькино красное одутловатое лицо дергалось и покачивалось.

— Могу предложить кое-что новенькое, — загадочно подмигнул приятель.

Никита воззрился на него, стараясь побороть подступающую тошноту. Колька быстро оглянулся по сторонам, сунул веник между двух круглых ручек кухонных дверей, взобрался на табуретку, сорвал пластиковую решетку с вентиляционной отдушины, пошарил рукой и вытащил на свет что-то, завернутое в полиэтиленовый пакет. Никита рассеянно следил за этими манипуляциями. Колька вернулся к столу и извлек из пакета блеснувшую стеклянным боком ампулу, наполненную прозрачным раствором, и шприц.

— Что это? — сощурился Никита, пытаясь сфокусировать взгляд на руке приятеля.

— Морфин, — заговорщически подмигнул Колька. — Я у матери бланки рецептов спер. Муттер-то у меня врачаха. Ценная вещь, рекомендую!

— А как? — заинтересовался Никита.

— Ща, — выразил готовность Колька. — На первый раз помогу. Закатывай рукав.

Никита послушно дернул вверх рукав рубашки. Колька перетянул его руку выше локтя резиновым жгутом, велел поработать кулаком. Никита несколько раз сжал и разжал пальцы, пока не вздулся на локтевом сгибе голубой бугорок вены. Колька тем временем наполнил шприц раствором и, взяв руку приятеля, прищурив левый глаз, аккуратно всадил иглу. В стеклянную трубку ворвалась струя крови, Колька с силой надавил на поршень, и Никита почувствовал, как что-то вливается в вену.

Из всего тела словно выпустили воздух. Никита обмяк на стуле, откинулся к стене, прикрыл глаза. Его окутало мягкое, теплое облако, освежило мутно-гудящую голову, огладило ноющий затылок. И серые глаза, от которых не было покоя все эти дни, затуманились, словно утонули в этом облаке полной расслабленности и спокойствия.

Прошло три месяца. Три месяца с тех пор, как Колька научил его, как достичь этой чудесной, ничем не поколебимой умиротворенности. Но каждый раз, когда сладкий туман рассеивался, Никита, поддаваясь смутной непроходящей тоске, плелся на поиски Али. Сегодня он караулил ее в подворотне на улице Горького, ждал, когда поравняется с ним колонна демонстрантов от Литературного института. Она обязательно будет среди них, и теперь ей не удастся отвертеться от разговора.

И вот наконец они появились. За месяцы дежурств у общежития Никита досконально выучил физиономии Алиных однокурсников, и теперь, быстро сориентировавшись, приготовился к атаке. Студенты шли по улице, смеясь и болтая, над их головами на ветру хлопали флаги, кренились портреты в деревянных рамах. Дождавшись, пока колонна, в которой шла Аля, поравняется с подворотней, Никита стремительно, с отчаянной решимостью метнулся вперед, судорожно вцепился в рукав Алиного плаща и резко рванул девушку в сторону.

Никита бежит навстречу толпе, увлекая Алю за собой. Вслед им несутся недовольные реплики подгулявших прохожих. Наконец он вталкивает девушку в подворотню, прижимает к ледяной стене. Прикрыв глаза, чувствует, что хмелеет просто от ее близости, от ощущения хрупкого тела, прижатого к его груди. Он впивается в Алины губы тяжелым, почти ненавидящим поцелуем.

— Что ты делаешь? — задыхаясь от быстрого бега, произносит Аля.

— К черту, все к черту... — шепчет Никита, отрываясь на секунду от Али.

— Пусти, идиот! Совсем ничего не соображаешь?

Никита, не отвечая, еще крепче прижимает ее к себе. Девушка пытается выскользнуть.

Она изо всех сил сжимает его упирающуюся в стену руку, чтобы сдвинуть в сторону запястье. Под ее пальцами ползет вверх рукав куртки, и Аля видит прямо перед собой синеватые проколы на сгибе его локтя.

— Господи, Никита, что это... — ошеломленно говорит она, на секунду ослабив хватку.

И Никита, воспользовавшись этим, обхватив руками ее голову, прижимается губами к бледному виску:

— Я люблю тебя! Люблю... Понимаешь?

— Никита, ты сам себе все это выдумал, — устало произносит Аля. — Ты себя мучаешь и меня заодно. Прости, но я... Я не могу...

— А ты его любишь, да? — яростно оскалившись, хрипит он. — Жить без него не можешь? Ну скажи уж всю правду, скажи! Он тебя не захотел, и ты со мной поехала, да? Чтобы отомстить ему?

— Да! — выкрикивает вдруг Аля. — Да! Да! Да!

Она с силой отталкивает его. Никита, потеряв равновесие, хватается за стену, Аля рвется в сторону, но он успевает извернуться и вцепиться в рукав ее плаща.

— Еще бы, умный, честный, благородный. Знаменитый опять же. Богатый! Не мужик, а роль человека в обществе! Только учти, ничего у тебя не выйдет!

— Это почему же? — вскидывается Аля.

— Да потому, — захлебываясь продолжает Никита, — что для него нет другой жизни, кроме кино. Он и спит-то только с

актрисами, пока они ему для роли нужны. А тех, кто его любит по-настоящему, он на антресоль задвигает, как пыльную тапку. И мою мать! И тебя! Он никогда, слышишь ты, никогда не полюбит того, кто любит его... Аля, это не я, а ты, ты себе все придумала! Сочинила! Рыцаря в латах и доспехах! Пойми наконец, Редников Дмитрий Владимирович — холодный и жестокий монстр, амбициозный, никого в грош не ставящий... И он стер тебя из своей памяти на следующий же день... Что бы между вами ни произошло, потому что ты для него — никто, интерес на один вечер... Интерес, чтобы приободрить себя, наполнить, понимаешь ли, красочными эмоциями для новой нетленки.

Не дослушав, Аля вдруг размахивается и наотмашь бьет Никиту по лицу. Хлесткий удар обжигает. Он хватается за переносицу.

— Никита, ты что?

Аля дотрагивается до его прикрывающей лицо ладони. Никита отводит руку, и на светлый Алин плащ брызжет темная кровь. Никита смотрит девушке прямо в глаза оторопело и беспомощно и не произносит ни звука... Аля вглядывается в бледное измученное лицо, в блестящие сумасшедшие глаза и борется с желанием погладить Никиту по голове, смыть с его точеного лица разводы крови, убаюкать, укачать, как расшалившегося ребенка. Она зажмуривается, пытается сосредоточиться и отогнать ненужный морок, бросается обратно на улицу и исчезает в пестрой праздничной толпе.

Никита бежит за ней, расталкивая прохожих. Аля растворяется в осенней дымке. И Никита, сдавленно застонав, медленно бредет по улице.

Пытка не закончилась и дома. Никита тяжело поднялся на пятый этаж, вытащил ключ, но дверь в квартиру легко подалась. Передернув плечами, Никита, не раздеваясь, прошел через просторную, заставленную старомодной добротной мебелью прихожую и остановился на пороге своей комнаты.

У письменного стола стоял отец. Он медленно обернулся к Никите, сжимая в руке небольшой шприц, в бурых пятнах засохшей крови на внутренней стороне стекла.

«Идиот, забыл на столе. И надо же было этому заявиться. Что ж, папик закончил наконец очередной шедевр и явился меня

наставлять, — вяло думал Никита. — А, черт... Наплевать! Теперь уже все равно».

— Никита, сынок, что это? — спросил отец.

В голосе его не было обычных металлических ноток, напротив, в нем слышалась неподдельная тревога. И Никита невольно почувствовал болезненное удовлетворение, как в детстве, когда его наказывали, и он, рыдая, воображал себе: «Вот умру сейчас от горя, вы тогда еще пожалеете, поплачете, а будет поздно».

Пожав плечами, Никита прошел к кровати, лег, не снимая ботинок, уткнулся лицом в мягкую, пахнущую утюгом подушку.

«Все равно, все равно, только бы быстрее отделаться...»

— Сынок, что же ты делаешь... — необычно тихо сказал Редников. — Ведь как же... Франция, кино, твое будущее. Никита, Никита, ты слышишь?

Он наклонился и потряс сына за плечо.

— Оставь меня в покое, — глухо отозвался Никита. — Мне все равно.

— Но почему? Ты ведь хотел, мечтал... Что случилось, сын?

— Ты прекрасно знаешь, что случилось, — не поднимая головы, проговорил Никита.

Дмитрий Владимирович помолчал. Никита чуть повернул голову, так, чтобы можно было видеть отца. Он и сам до конца не понимал, так ли сильно его отчаяние или он все-таки немного актерствует, давит на жалость, как поступал еще ребенком, когда очень нужно было получить желанную игрушку.

«Он сделает все, что я попрошу», — неожиданно мелькнуло в голове.

— Это... из-за той... девушки? — наконец догадался Редников.

— Да! — крикнул Никита, вскакивая.

Дмитрий увидел, что изможденное, осунувшееся лицо сына пошло пятнами, запавшие глаза лихорадочно блестели из-под покрасневших век.

— Да, — срывающимся голосом продолжал Никита. — Из-за нее... Она... знать меня не хочет, а я... Я больше не могу...

Он снова рухнул лицом в подушку, продолжая исподволь наблюдать за отцом. Редников отвернулся к окну, вытащил папиросу, выстукал ее о подоконник, затем произнес внятно:

– Хорошо. Я понял.

Он резко обернулся, подошел к Никите, опустил ладонь ему на плечо, сказал тихо:

– Сынок, я очень прошу тебя, не надо больше. Ты хоть мать пожалей. А то, что ты сказал... все образуется. Мы что-нибудь придумаем. — Дмитрий вышел из комнаты.

Дождавшись, когда стихнут его шаги, Никита встал. На душе было муторно. Горло сдавливал едкий неприятный стыд. Думать о своем сегодняшнем поведении: о том, как со злостью выкрикивал гадости Але в лицо, о том, как разделался с отцом, — было мучительно. Никита щелкнул клавишей магнитофона. Но взревшая музыка не выветрила из головы ненужных воспоминаний. Он прошелся по комнате, постоял у окна, отгоняя навязчиво стучавшую в виске мысль. Потом все-таки снял телефонную трубку, набрал номер и вполголоса проговорил:

– Николая, здорово, это я. Есть че?

Редников вышел из квартиры, прикрыл за собой тяжелую деревянную двустворчатую дверь и оказался в широком, вымощенном мрамором коридоре сталинской высотки. Здесь было тихо и пусто, тусклый свет осеннего дня лился сквозь забранное витражами окно. Дмитрий облокотился на широкий каменный подоконник, закурил папиросу.

Он почти физически ощущал навалившуюся на плечи тяжесть после разговора с Никитой. Единственный сын, воплощение всех надежд на будущее, деградирует на глазах. Шляется неизвестно где, пьет, а теперь, как оказалось, еще и ширяется какой-то дрянью. Дмитрий Владимирович хорошо помнил некоторых раненых на фронте, которые после госпиталя пристрастились к морфию. Помнил их изможденные лица, полубезумный, вечно ищущий взгляд, дрожащие костлявые руки, перетянутые черными венами. Неужели Никита станет таким же?

Редников бросил окурочок под ноги, прикурил новую папиросу. Нужно было что-то сделать, решить, как-то вытащить мальчика. Но как? С кем-то посоветоваться... Но с кем можно говорить об этом, не с Тоней же... Ведь если станет известно наверху — а там станет известно, если не принять мер, можно не сомневаться, — будет погублено все его будущее.

Дмитрий Владимирович глухо застонал и прижался лбом к стеклу. Столько усилий, столько надежд — и все зря. И почему, из-за кого? Хороший подарочек подкинул ему старый друг Ковалев! Конечно, все это ее вина. И то, что произошло с Никитой, и то, что он, Редников, стоит тут, в подъезде, не зная, куда пойти, потому что оставаться в квартире с сыном невыносимо, но и ехать на дачу к полубезумной жене не лучше, — все это ее рук дело. Какова оказалась, гадина! Хитрая, изворотливая, лживая... Надоело, должно быть, жить в общежитии на стипендию, решила любым способом устроить себе будущее. А тут такая удача, попала в известную обеспеченную семью. Ну и решила воспользоваться, не мытьем, так катаньем втереться.

Сначала к нему подкатывала, но вовремя поняла, что промашка вышла, и переключилась на Никиту. И как оперативно сработала, за одну ночь. Сообразила, что ради единственного сына Редников будет готов на все.

Что ж, он поедет и увидит ее еще раз, увидит тяжелые русалочьи волосы, дымчатые глаза, которые умеют заглядывать прямо в душу, губы, вкус которых он слишком хорошо помнит. Он преподнесет ей трофеи, которых она так долго добивалась. И пусть празднует победу, пусть будет счастлива. Если сможет...

От горячей воды, плескавшейся в пластиковом тазу, поднимался влажный теплый пар. Аля с трудом на вытянутых руках несла таз по коридору общежития. Войдя в комнату, она ногой захлопнула дверь, опустила таз на табуретку, вытерла лоб тыльной стороной ладони и сняла с крючка испачканный плащ. На светлой материи отчетливо проступали бурые пятна. Аля, нахмурившись, потеряла их ногтем, покачала головой и опустила плащ в горячую воду.

Плаща почему-то было жалко до слез. Аля терла ткань хозяйственным мылом и всхлипывала. Ведь это неправильно, несправедливо! Она не докучает им больше, честно старается все забыть, выбросить из головы, успокоиться, а он, Никита, бродит за ней, выслеживает, не дает покоя. Теперь вот плащ испортил.

В дверь постучали. Аля шмыгнула носом, вытерла злые слезы, оставив на щеке полосу мыльной пены, буркнула:

– Открыто!

В комнату вошел Митя. Аля чуть не вскрикнула, увидев его на пороге. Она не встречалась с Редниковым с того самого утра и думала, что, должно быть, уже никогда не увидит. Разве что когда-нибудь по телевизору в репортаже о Московском кинофестивале. И вот теперь Дмитрий стоял перед ней, в темном костюме, в черном импортном плаще — очень официальный и отстраненный.

Митя притворил за собой дверь, прислонился к ней спиной и сказал глухо, словно ему не хватало воздуха:

– Александра... Юрьевна, у меня к вам разговор.

«Юрьевна», — удивилась Аля. Она отодвинула в сторону табуретку, сбросила стопку тетрадей со стола и, справившись со сдавившим горло спазмом, произнесла:

– Дмитрий... Владимирович, вы, может быть, присядете? Я чай вскипячу...

Редников поморщился от звука ее голоса, как от чего-то досадного, мешающего произносить заранее заготовленную речь. И Аля неожиданно поняла, поняла по его холодному отрешенному лицу, по всей его напряженно застывшей фигуре, что этот человек пришел с войной. Не разговор ему нужен, нет. Он все уже решил, а ей остается лишь смиренно выслушать царственную волю. И Аля, опустившись на стул, склонила голову — казни!

– Я вас слушаю.

– Прежде всего я хочу вас поздравить, Александра Юрьевна, — четко выговаривая слова, начал Дмитрий. — Вы проделали большую работу, требующую недюжинной выдержки и самообладания, и должен признать, что достигли отменных результатов.

Он отошел к окну, отвернулся от Али и продолжил, словно обращаясь не к ней, а к прилипшему к стеклу оранжевому кленовому листу.

– Вы доказали, что являетесь человеком... целеустремленным, что, безусловно, скажется положительно на вашей дальнейшей карьере. Сначала вы выбрали... не совсем верный путь, но быстро сориентировались и поняли, как лучше всего добиться поставленной цели. Вы, конечно, догадались, что сын для меня все. И ради его счастья я готов закрыть глаза на многое. Признаюсь, я далеко не уверен в правильности его выбора, но сейчас он в отчаянии. И тот... образ жизни, который он ведет в последнее время, его погубит...

Аля медленно поднялась со стула, чувствуя, как сатанеет от одного звука его голоса, от презрительного взгляда черных цыганских глаз.

– Чего же вы хотите? — выговорила свистящим шепотом.

– В данной ситуации наиболее правильным решением я считаю согласиться на ваш брак с моим сыном, — ответил Редников.

Девушка, застывшая перед ним, показалась ему оцетинившейся кошкой, подобравшейся перед прыжком. Как будто даже зрачки ее светящихся ледяной яростью глаз стали узкими, вертикальными. Чуть осипшим голосом он продолжал:

– Со своей стороны могу предложить вам следующее. Трехкомнатная квартира на Котельнической, новая «Волга» в качестве

свадебного подарка, путевка на горнолыжный курорт... Что еще? Разумеется, по окончании вашей учебы я позабочусь о том, чтобы вы были приняты в Союз писателей... Вас устраивает мое предложение, Александра Юрьевна?

Произнеся последние слова, Редников понял, что уже никогда не сможет забыть, как озарилось медленной жестокой улыбкой белое застывшее лицо Али с горящими на щеках лихорадочными красными пятнами. Как откинулась чуть назад ее голова и дрогнуло горло. Что-то пугающее, ведьминское появилось во взгляде девушки, казалось, еще секунда — и она расхохочется ему в лицо, залетится страшным дьявольским смехом. И Митя невольно отшатнулся, когда Аля сделала шаг к нему.

— Вполне, — проговорила она хриплым низким голосом. — Но у меня одно условие. Я хочу не новую «Волгу». А вашу, ту самую!

— Хорошо, вы получите ее, — ошеломленно ответил Редников.

— Вот и прекрасно, — сверкнула ослепительной улыбкой Аля. — И передайте, пожалуйста, Никите, чтобы приходил скорее. Я его очень жду!

Дверь за Митей захлопнулась, а Аля так и осталась стоять посреди комнаты, прижимая ладони к вискам, пытаясь утихомирить кипевшую в ней пронзительную ненависть.

Через час примчался Никита, дергал ее, теребил, целовал, заглядывал в лицо, не в силах поверить в свершившееся чудо. И Аля натужно улыбалась и деловито паковала вещи — Никита заявил, что забирает ее из общежития сейчас же. Потом ловили такси, запихивали в багажник сумки, мчались по осенней Москве. Потом в темной спальне большой незнакомой квартиры в высотном сталинском доме Никита опустился перед ней на колени, уткнулся лицом в ее живот, шептал, как он мечтал, как ждал этого момента. И Аля до крови кусала губы, чтобы не оттолкнуть его, не заорать, не забиться в злой истерике.

Ночью, когда Никита уже спал, она встала с кровати, неслышно ступая босиком по холодному полу, прошла на кухню, прижалась лбом к оконному стеклу, посмотрела вниз на украшенный к седьмому ноября флагами и разноцветными лампочками город. Мелькали по проспекту размытые в тумане фары машин, хлопали полотнища флагов на ветру, жизнь шла своим чередом, бежала вперед, несмотря ни на что. Бессмысленная, холодная и бесконечная.

Аля и Никита жили теперь вместе весело и бесшабашно. В огромной квартире постоянно толклись какие-то странные личности: пили, курили, смеялись, приносили иностранные пластинки в ярких бумажных конвертах, танцевали. В зеркальном шкафчике в гостиной не переводились пузатые бутылки с незнакомыми этикетками. И Аля постоянно отвечала на телефонные звонки, открывала дверь, доставала бокалы, развлекала гостей, варила кофе и смеялась свежим анекдотам. Когда приходила портниха, принося на очередную примерку свадебное платье, совершенно шикарное, с пышной «принцессистой» юбкой, Аля с опаской вводила ее в собственную спальню, боясь наткнуться на очередную целующуюся парочку. Такая жизнь Александре нравилась. Нравилась особенно потому, что почти не оставляла возможности остаться наедине с будущим мужем. Никита, вечно окруженный гостями, полупьяный, часто заваливался спать в гостиной, устроившись на широком диване, а иногда и вовсе пропадал из дома на несколько дней. Аля смотрела на происходящее отрешенно, как будто ничего другого и не ожидала. Лишь иногда, заметив странный лихорадочный блеск в его глазах, настороженно спрашивала:

– Никит, ты ведь правда завязал с этим?

И Никита многословно клялся, что с морфином давно покончено, что все это было единственно от отчаяния, теперь же, когда у него есть прекрасная любимая жена и он счастливейший из смертных, никакие наркотики ему даром не нужны.

Свадьба была назначена на конец декабря, под Новый год. В день торжества с неба сыпалась мелкая белая труха, под ногами хлюпала подтаявшая снежная каша. Белая «Волга» подкатила к загсу, Аля опасно выступила из машины, прикрывая руками прическу. Что-то щелкнуло, и над головой раскрылся темно-синий матерчатый купол зонта. Аля на секунду остановилась и впервые за эти месяцы увидела Митю. Высокий, в длинном строгом пальто, в иссиня-черных волосах мерцают мелкие снежинки, две горькие складки возле сжатых губ. Сердце подпрыгнуло в груди и размашисто стукнулось о ребра. Она отшатнулась, подалась в сторону, резко отвернулась. И вот уже подоспел Никита, подхватил ее под руку, взял из рук отца зонт, бросив на ходу: «Мерси боку, папá!» — и повлек ее к мраморным ступеням.

А потом была дородная тетка с лакированным начесом на голове, которая приказала им с Никитой сохранить друг к другу любовь и

уважение на долгие годы. Были тонкие золотые кольца — Алино неожиданно оказалось слишком велико ей. Была сухая, короткая телеграмма от матери: «Поздравляю с бракосочетанием! К сожалению, приехать не смогу, занята на конференции». Был бесконечный стол в ресторане, заздравные тосты, замысловато украшенные блюда и человек в темном костюме, там, на другом конце стола, почти невидимый в двоившемся от выпитого шампанского зале. И с каждым бокалом темный силуэт становится все менее различимым, более нечетким. И Аля кивала официанту:

– Да, мне еще вина, пожалуйста! Еще!

Вдоль стола бродил развеселый тамада, приставал к гостям, требуя тостов, совал в руки микрофон. Где-то к середине вечера он подступился к Редникову, и Дмитрий Владимирович поднялся над столом.

Аля замерла с бокалом в руке, судорожно сжимая тонкую хрустальную ножку. «Как он красив, черт возьми, ничто его не берет. И смотрит цыганскими глазами все так же, куда-то вдаль, поверх всех голов. Гений, чтоб его, богопоцелованный...»

– Александра и Никита, от всей души поздравляю вас. Будьте счастливы! — коротко сказал Редников.

– Сыночек мой, и ты, Аленька... Я что хочу сказать... — вступила Антонина Петровна.

Но Аля уже не слышала, откинулась на спинку стула и беззвучно захохотала, спрятавшись за вазой с цветами.

– Ты что? — весело взглянул на нее Никита.

Она покачала головой — мол, ничего, не обращай внимания.

Потом все кончилось: и мучительное свадебное застолье, и невообразимо скучный медовый месяц в горах — и потекла обычная повседневная жизнь.

Аля ездила в институт, готовилась к защите диплома. Никита целыми днями где-то пропадал, говорил, что выбивает по инстанциям документы для возвращения во Францию, ругался, что ничего не выходит, что это всемогущий отец чинит ему препятствия.

Он все чаще раздражался, срывался на Алю, кричал и успокаивался, только когда в квартире появлялся, загадочно улыбаясь, верный Никола. Тогда Никита, скрывая нетерпение, под любым предлогом выставлял Алю, запирался с другом на кухне, и в квартире

на несколько минут воцарялась странная напряженная тишина. Выходили они не скоро, двигались неестественно плавно, словно в замедленной съемке, мутно смотрели на Алю, на вопросы несли какую-то невразумительную чушь.

Аля пыталась поговорить с мужем, выяснить, что происходит, вызывала на разговор Колю. Однажды во время уборки в квартире обнаружила в мусорном ведре пустые медицинские ампулы. К весне она уже не сомневалась, что ее молодой муж — законченный наркоман.

Снился залитый солнцем летний сад.

Высокие, смыкающиеся над головой кроны деревьев, темные лапы елей. Сладкий, удушливый запах цветущих лип. Рыжие тигровые лилии и малиновые флоксы вдоль выложенной плитками дорожки. И где-то впереди проглядывает сквозь ветки знакомая мужская фигура. «Митя! — зовет Аля. — Митя, стой. Я здесь!» Он оборачивается, улыбается отрешенно, смотрит куда-то вдаль и уходит, скрывается в зелени сада. И она бросается за ним, хочет догнать, удержать, но ноги путаются в любовно выращенных Тоней и Глашей цветах, ветки хлещут по лицу, вырастают на пути колючие заросли шиповника. А Митя удаляется, исчезает в жарком мареве летнего дня. Ноги его словно скользят, не касаясь земли, ступают по густому душному воздуху. И вот уже лиловое марево смыкается за его спиной.

Аля заметалась во сне, вскрикнула и проснулась. Она лежала на плюшевом бордовом диване в гостиной. Спала одетая, зажав в руке маленькие настольные часы. В распахнутое окно вползала душная московская ночь.

Все тело затекло от неудобной позы, ныла шея, мелко покалывало закинутую за голову руку. Аля поднялась, потянулась, посмотрела на часы. Второй час, а Никиты все нет...

В прихожей заскрежетал ключ в замке, грохнула дубовая дверь, и Аля пошла навстречу вернувшемуся наконец мужу.

Никита застыл посреди прихожей, чуть наклонившись вперед, в неестественной, напряженной позе. Он бросил остекленелый, отсутствующий взгляд на Алю и, не здороваясь, принялся неловко стягивать ботинки. За его спиной, перешептываясь и хихикая, стояли две незнакомые девицы. Одна — высокая брюнетка в вызывающем мини и с крупными кольцами в ушах, другая — ядовито-рыжая, с жирными черными стрелками на веках.

— Добрый вечер, — сухо поздоровалась Аля.

Девицы что-то прощепетали в ответ. Одна, пройдя в гостиную, с размаху плюхнулась в мягкое кресло, вторая, задержавшись в прихожей перед зеркалом, принялась взбивать волосы и гримасничать.

Никита прошел сразу к бару, распахнул его и стал извлекать на свет разномастные бутылки. Аля обратилась к нему вполголоса:

– Ты что так поздно? Мог бы позвонить...

– А ты, что ли, волнуешься, верная жена? Места себе не находишь? — осклабился он в издевательской улыбке.

Аля заметила испарину на его желтоватом лбу, суженные в точки зрачки. Значит, опять...

– Никита... — Она решительно взяла его влажную ладонь.

Он с силой выдернул руку, пошатнувшись от резкого движения, оперся плечом о шкаф и, не обращая внимания на Алю, бросил гостям:

– Пойдемте, цыпочки, нас тут не понимают. Вот только затаримся...

Никита выбрал из множества бутылок одну, с коньяком, отвинтил крышку, запрокинул голову и поднес горлышко к губам лихим ковбойским жестом. Рыжая, покачивая бедрами, направилась к нему, играя бровями, протянула руку за своей порцией. Никита же вдруг пошатнулся, судорожно хватая рукой воздух, икнул и, оттолкнув подругу, стремглав бросился в ванную, спотыкаясь и натываясь на стены.

Брюнетка проводила его растерянным взглядом, протянула:

– Никас, ты куда?

Рыжая же, быстро сориентировавшись, ловко сунула бутылку в сумочку.

В ванной хлопнула дверь, послышался шум воды, глухо застонал Никита.

Аля с силой выдохнула, захлопнула дверцу бара и обернулась к девушкам:

– Значит, так, цыпочки! На дворе ночь, спать пора. Так что всего доброго!

И девицы, подчиняясь ее жесткому взгляду, неохотно процокали к выходу. Рыжая фыркнула, а брюнетка бросила на ходу:

– Вот стерва!

Аля захлопнула за ними дверь и постучалась в ванную:

– Никита, это я. Открой сейчас же!

Никита промычал что-то сквозь шум воды, что-то грохнуло, покатило по полу, и дверь открылась.

Вода, с шумом вырываясь из никелированного блестящего крана, бурлит в засорившейся раковине, переливается через края на пол, где, скорчившись, прижимая всклокоченную голову к коленям, лежит Никита. Зажав в зубах конец желтого медицинского жгута, он пытается перетянуть себе руку чуть выше локтя.

Аля опускается на корточки рядом с ним, гладит холодный влажный лоб и шепчет:

— Ну что ты? Совсем плохо, да?

— Плохо, — сипит Никита. — Помоги...

И Аля как во сне вскарабкивается на край ванны, снимает вентиляционную решетку под потолком, достает маленький медицинский шприц и ампулы с раствором.

Опускается на колени, с силой затягивает жгут и вкалывает иглу в выступившую голубоватую вену. Никита мгновенно перестает дрожать, расплывается в благодарной расслабленной улыбке.

Аля склонилась над ним, подхватила под мышцы, потянула вверх, приговаривая ласково и повелительно:

— Ну давай же, пойдём! Пойдём! Вот... Молодец... Вот так!

В коридоре он несколько раз в изнеможении опускался на пол, сидел, уставившись в одну точку. И Аля терпеливо уговаривала, снова взваливала его себе на плечи, тащила в спальню.

Добравшись наконец до кровати, Никита тяжело повалился на нее, блаженно растянулся на одеяле, не глядя на Алю, куда-то в пустоту изрек:

— А разрешения на выезд опять не дали... Папаша долбаный! Год уже здесь торчу по его милости. Скоро сторчусь совсем. Неплохой каламбур, а, писатель? — Он бессмысленно хохотнул.

Аля, не отвечая, выдернула из-под него покрывало. Потом ловко стянула с мужа джинсы, он вяло приподнимался, помогая, жалобно постанывая от каждого ее движения. Сбегала на кухню и принесла воды, зная, что через некоторое время Никиту начнет мучить жажда.

— А ведь ему ничего не стоит... — бормотал Никита. — Позвонил куда надо, надавил — и все. Но не-е-ет! — Он чуть приподнялся над подушкой, погрозил кому-то невидимому пальцем. — Ему же надо доказать, что без него я никто... пустое место...

— Дурак ты, — прикрывая его одеялом, отозвалась Аля. — Он же просто боится за тебя. Боится тебя отпустить. Потому что ты медленно

и верно губишь себя.

— До этого ему нет никакого дела, — помотал головой Никита. — Никакого! А может, он кого другого не хочет отпускать, а? Как думаешь?

Он попытался было подняться, но снова без сил откинулся на подушки, приговаривая:

— Мне душно в этой стране. Мне свобода нужна. Я здесь не могу... А ему я докажу, докажу, вот увидишь...

«Докажешь... — устало думала Аля, расстилая постель в бывшей Никитиной комнате. — Мы все друг другу докажем. Докажем, что сильные, свободные, что нам на все наплевать. Докажем, чего бы нам это ни стоило. Даже ценой собственной жизни».

Она нырнула под одеяло и щелкнула выключателем настольной лампы.

На освещенной софитами эстраде надрывался музыкальный ансамбль. Потный солист нарочито гримасничал в красном луче прожектора. Он завывал в микрофон что-то невыносимо пошлое и печальное.

Никита, скривившись, окинул взглядом стол, за которым помещалась их развеселая компания. Лица друзей расплывались мутными пятнами, как в тумане. Перед тем как забуриться в это модное кафе, они с Николя успели как следует вмазаться дома и теперь расслаблялись здесь, за столиком, потягивая для вида шампусик.

Колька что-то горячо шептал на ухо Анжелке, значит, ему, Никите, сегодня достанется эта, рыжая, как бишь ее? Наташа? А, черт, какая разница! Есть же у нее наверняка какая-нибудь халупа, где можно будет заночевать.

Только бы не возвращаться в свой мавзолей. Там каждая стенка, каждая долбаная табуретка выстроились как на параде, готовые поклоняться хозяину, великому и непревзойденному Дмитрию Владимировичу Редникову. И жена сидит там и сторожит все эти роскошества...

Никите порой казалось, что он не просто привязан к Але, что он врос в нее всем своим существом. Представлялось, что Аля — демон, специально поднявшийся из адовых глубин, чтобы погубить его, Никиту.

Иногда он думал, что просто отравлен своей женой. Ее тень преследовала даже ночью, присутствовала во всех снах. И даже в них, в мучительном душном наваждении, он скучал по ней. Просыпался, убеждался, что его женщина, его жена, не оставляющее в покое нереализованное желание все еще рядом, и начинал скучать с утроенной силой. Будь его воля, он приковал бы к себе Алю наручниками, не отпускал бы ни на секунду, силой заставил бы исчезнуть преследующий их роковой образ предателя-отца.

«А папаша сидит там, на даче, как паук, сети раскинул и наслаждается, — исходя злобой, представлял Никита. — И выпускать не хочет. Давно бы свалил от него подальше, Альку бы увез, чтобы забыла его к чертовой матери. Нет же, не пускает. Хорошо, тетка там, в ОВИРе, прямо так и сказала ему в последний раз: „С отцом бы поговорили, Никита Дмитриевич“. Видно, крепко я их достал, таскаюсь туда, как на работу. Ничего, мы ему еще покажем».

Никита, пошатываясь, встал из-за стола, нетвердо ступая, двинулся в толпу танцующих. Его рассеянное внимание привлек один из посетителей — высокий, статный брюнет лет сорока.

«Папаша, что ли? — гадал Никита, наступая на кружившегося в танце мужчину в черном пиджаке. — Развлекаться приперся? Отметить, как ловко мне хвост прищемил?»

Не вполне соображая, что делает, зверея от кипевшей в груди злобы, Никита схватил с ближайшего стола водочную бутылку, с размаху треснул ее о стену. Доньшко откололось, и в руке у него осталась «розочка» с неровными острыми краями.

В толпе танцующих закричали. Фальшиво тренькнула гитара, песня оборвалась. Черный пиджак обернулся к Никите. Конечно, это был не Редников. Но Никита этого уже не понимал, отреагировал только на снисходительную улыбку на губах незнакомца.

– Ты еще смеешься? Думаешь, мне тебя не победить?

Выставив вперед «розочку», он ринулся в толпу. Послышался женский визг, грохот разбрасываемых стульев, гаркнул что-то, расталкивая людей, администратор. «Розочку» из Никитиной руки быстро выбили, но он, не желая сдаваться, все-таки набросился на мужчину в пиджаке, молотил кулаками куда попало, рычал что-то нечленораздельное.

Взревели за окнами милицейские сирены, кто-то невидимый профессионально заломил Никите руки. Рядом почему-то оказались врачи в сине-зеленых блузах работников «Скорой помощи». Из-за их спин выплыло растерянное лицо Кольки.

–Але! Але позвони!.. — успел крикнуть Никита, прежде чем его выволокли на улицу и втолкнули в машину.

Телефон задрезжал неожиданно, словно ночная тишина взорвалась, захлебнулась звонком. Редников сел в постели, спросонья не сразу сообразив, что происходит.

«Тоня!» — Он внутренне содрогнулся.

Два дня назад жену забрали в больницу с очередным обострением. Только накануне вечером он говорил с врачом, который сообщил ему, что сердце у больной слабое, а дозу препаратов необходимо увеличить. Большой риск, может не выдержать, но выхода нет. И вот теперь этот ночной звонок.

Резким движением Митя сорвал с аппарата трубку, приложил к уху, ощутив прохладное прикосновение гладкого пластика. Приготовился услышать профессионально разыгранное сочувствие.

–Алло?

Но неожиданно услышал срывающийся голос:

–Дмитрий Владимирович, это Аля. Извините, что поздно... Дело в том, что Никиту забрали...

Это слово — «забрали» — отозвалось в затуманенной сном памяти давно знакомым, с детства запрятавшимся где-то в глубине, сковывающим все тело ужасом. Забрали... Забрали отца, сильного, надежного, всегда веселого, скрутили руки и вывели за дверь, не дав даже снять бутафорскую синюю шубу. Забрали мать, маленькую женщину в светлом платье, там, на жарком пыльном летнем вокзале. Забрали Никиту?

Редников спросил отрывисто:

–Погоди? Куда забрали? Кто?

–Мне позвонил Коля, его приятель, — объяснила Аля. — Я сразу в милицию, но мне там сказали, что он был не в себе, бредил... Вызвали «Скорую», и его... В общем, забрали в тринадцатую больницу, в буйное отделение...

В первую секунду Дмитрий Владимирович ощутил лишь, что отлегло от сердца. Он опустил на стул, устало прикрыл глаза.

«Нет, не они забрали... Милиция, врачи, все это ерунда... — Затем в груди заворочался глухой гнев. — Допрыгался все-таки, щенок!»

— Понял. Выезжаю, — коротко сказал он в трубку и неожиданно для самого себя мягко добавил: — Ты не волнуйся. Я все решу.

Уже через полчаса он шел рядом с Алей по узкой, выложенной серыми квадратными плитками дорожке, обсаженной по обеим сторонам разросшимися лохматыми кустами. Впереди темнели одинаковые коробки больничных корпусов. Изредка попадались тускло освещенные окна, забранные толстыми чугунными решетками.

— Почему ты сразу не позвонила мне? Не рассказала, что происходит с Никитой? Я думал, он давно бросил эту дрянь... — сердито спрашивал Редников.

Аля быстро взглянула на него, и он осекся, хмыкнул, прибавил шагу.

Девушка на ходу достала из сумки сигарету, зажала ее в зубах, чиркнула спичкой. Спичка переломилась пополам. Аля чиркнула снова, красноватый огонек метнулся в темноте и тут же погас. Дмитрий Владимирович остановился, взял коробок из ее ледяных дрожащих пальцев, зажег спичку и дал Але прикурить. Она нервно затянулась, и Редников ободряюще погладил ее по плечу:

— Ничего... ты... успокойся...

Аля дернулась от его прикосновения, сжала губы и решительно направилась к главному корпусу.

Дмитрий сдвинул брови: «Да, конечно, чего это я... Нужно быстрее переговорить с главврачом. Дать взятку, если нужно. Только бы не заводили историю болезни. Иначе сразу пометка в личном деле. И все! Не выберешься. Никакой тебе заграницы, никакого кино. Рад будешь, если сторожем на „Мосфильм“ возьмут».

Дежурная в приемном покое, немолодая строгая женщина с седыми прядями, выбивавшимися из-под белого врачебного колпака, конечно, никуда не пустила их ночью:

— Приемные часы с девяти до шестнадцати. Сейчас все закрыто. Вы что же, товарищи, не поняли меня? Шумите тут, больных беспокоите... Покиньте территорию больницы, давайте, давайте...

«Утром будет поздно, — соображал Редников. — Главное, успеть до обхода. Перехватить заведованием на подъезде к больнице?»

Придется оставаться здесь, ждать... Только где? Сидеть на крыльце эта старая гримза, конечно, не позволит...»

— Знаешь что... — обратился он к Але, стараясь говорить спокойно, даже весело. — Давай-ка я тебя на такси посажу, а сам вернусь сюда, подожду врача.

Аля непонимающе посмотрела на него:

— Я тоже подожду. Лучше уж здесь...

Она оглянулась по сторонам и указала на примостившийся у забора кособокий сарай:

— Может, туда попробуем?

— Давай рискнем, — кивнул Дмитрий.

Они почти уже дошли до темневшего в глубине двора строения, когда слева, за деревьями, лязгнули, открываясь, больничные ворота и дорога осветилась фарами приближавшейся кареты «Скорой помощи». Редников дернул Алю за руку, затащил за деревья, пригнулся.

Из машины вылезли двое дюжих санитаров, распахнули задние двери, вывели под руки упирающегося, нетвердо стоявшего на ногах молодого парня.

— Никита! — охнула Аля.

Дмитрий напряженно вглядывался в темноту. Санитары потащили парня к входу, мелькнуло в свете фар незнакомое одутловатое лицо, и Редников с облегчением выдохнул:

— Да нет, это не он. Тебе показалось.

Дождавшись, когда машину отгонят на задний двор, они снова направились к сараю. На двери болтался тяжелый проржавевший замок. Редников навалился плечом на дверь, с силой повернул дужку замка, и железо поддалось в его руках. Дверь, скрипнув, приоткрылась, повиснув на одной петле.

Из помещения пахло плесенью, затхлостью. Дмитрий Владимирович вошел первым, споткнулся о строительный мусор, валявшийся на полу, чертыхнувшись, отбросил его ногой в сторону. Он прошел вперед, зажег спичку. Высветилось низкое прямоугольное помещение, загроможденное старой больничной мебелью, метнулась по полу крыса.

Аля вошла следом, ойкнула, ударившись об угол продавленной металлической койки. Редников прошел к заколоченному окну, уцепился за одну из досок, с силой потянул вниз, повиснув на ней всем

телом, и выдрал с мясом. В сарай проник со двора тусклый свет фонаря.

— Ну вот, так посветлее будет, — с удовлетворением произнес Дмитрий. — Там дорога видна, тут — крыльцо. Замечательный наблюдательный пункт ты выбрала. Здесь мы точно ничего не пропустим.

Он повернулся к Але. Девушка, сторбившись, сидела в углу на деревянном ящике. Ее почти не было видно, лишь блестела в неясном свете склоненная золотистая голова. Редников приблизился, разглядел тонкие прижатые к лицу ладони. На безымянном пальце левой руки желтело узкое, чуть великоватое обручальное кольцо.

Теперь, когда они оказались наедине в этом грязном, пропахшем мышами и сыростью сарае, не обращать на нее внимания, делать вид, что ее нет рядом, было невозможно.

— Ты что? — выговорил он внезапно охрипшим голосом.

— Устала... Господи, как я устала, — простонала Аля, медленно раскачиваясь из стороны в сторону.

— Что, нелегко дается красивая жизнь?

Аля дернулась как от пощечины, а затем выпрямилась, вытянулась перед ним в полный рост, судорожно сцепив руки, глядя прямо ему в лицо сумасшедшими яростными глазами. И Редников, больше не владея собой, продолжал:

— Ты же сама этого хотела, так? Квартира в центре, машина, шмотье заграничное, карьера опять же. А что за все приходится платить, в детстве не научили? Да, просчиталась маленько... Ну и как тебе с ним живется... радостно? Весело, бесппроблемно, скажи, мне очень интересно, как?.. Неужели все это стоит твоей свободы, твоей молодой жизни? Он мой сын, мой единственный сын, и мне никуда от этого не деться. А ты... неужели не понимаешь, что продала себя за тридцать сребреников? Ведь ты не любишь его, это видно... Тогда зачем?

— Да, не люблю... — перебила вдруг Аля. — Но даже зверям свойственна жалость к своим собратьям!.. А ты, ты знаешь, что это такое — жалость? Нет... ты не знаешь и не знал никогда, наверное...

Она осеклась, глянула куда-то в сторону. Митя понял, что сейчас произойдет что-то такое, чего никогда нельзя уже перечеркнуть, забыть, сделать вид, что ничего не было. Словно игрой каких-то

темных сил они с Алей заброшены в этот склеп, словно эти же темные силы, забавляясь, вызвали их на этот разговор и, шутя, нашептывали реплики.

– Так ты хочешь знать, зачем? — медленно проговорила Аля.

«Не хочу! Стой! Не говори ничего!» — хотел остановить ее Редников и уже не мог.

– Из-за тебя! — сказала, как выстрелила, Аля и рассмеялась коротким злым смехом. — Пусть тебе будет больно, хотя я сомневаюсь... Послушай меня хоть раз в жизни, тебе наверняка должно это доставить удовольствие! Так вот... Маленькая наивная девочка не могла смириться с тем, что «рыцаря» больше не будет в ее жизни, все плакала, горевала, надеялась... никак не могла взять в толк, что тот просто потешил свои амбиции, но вовремя понял, что заигрался! Да что там, смешно вспоминать! А тут появляется другой, отлитый, так сказать, по образу и подобию. Вот он, шанс оказаться рядом с самым сиятельным господином, причем на долгие годы... Тридцать сребреников...

– Что ты несешь! Что за чушь ты себе напридумывала! — прорычал Редников.

Он схватил Алю за плечи, поднял на уровень своих глаз и встряхнул, словно она была не живым человеком, а гуттаперчевой куклой. Аля забилась в его руках, продолжая выкрикивать:

– Это ты мне скажи, как тебе живется с урезанной совестью? Как? Мне тоже очень интересно... Я ходила за тобой как привязанная, и Никита только поэтому меня захотел, только поэтому! Чтобы досадить тебе! Ну с него-то что взять, он привык получать все, что пожелает. Но вот ты... ты мне жизнь сломал, ты злой, злой самовлюбленный болван!

Аля неожиданно толкнула его в грудь маленькими крепко сжатыми кулаками и выдохнула:

– Ненавижу тебя! Ненавижу! Будь ты проклят!

Каждое слово набатом отдавалось во всем его теле. Не в силах больше слушать, не отдавая себе отчета в том, что делает, Митя снова встряхнул ее за плечи, рванул к себе так, что мотнулась вперед ее голова, коснулись его лица рассыпавшиеся бледно-золотые волосы и прямо перед ним оказалось Алино лицо с запавшими от бессонной ночи глазами, с блестящими на ресницах слезинками. И этот запах — что-то нежное и горькое, заставляющее сердце выпрыгивать из груди и

бешено колотиться в висках. Сломать ее, уничтожить, сделать что угодно, только чтобы прекратилась эта попытка, это невыносимое осознание, что где-то есть женщина, рядом с которой ты не властен над самим собой. И тогда все снова встанет на свои места, и он вырежет, вычеркнет это время из своей жизни, как лишний эпизод при монтаже. Он снова станет сильным, практически неуязвимым, свободным.

Пространство вокруг, черты ее искаженного гневом лица заволкло темным туманом. Митя до боли сжал дрожавшие в его руках хрупкие плечи, прижал Алю к стене и, больше не понимая, что делает, впился губами в ее дергающийся рот. И в ту же секунду разжались упирившиеся в его грудь острые кулаки, и Алины руки взлетели в темноте и обвились вокруг его шеи. Девушка со стоном приникла к нему всем телом, живая, теплая, вздрагивающая. Не в силах вырваться из плена ее запаха, ее какой-то жертвенной всепрощающей страсти, покрывая яростными поцелуями ее лицо, волосы, плечи, Митя с силой дернул вниз Алино платье, от чего одна из бретелек лопнула, обнажив бледную, словно светящуюся в темноте нежную кожу.

–Ведьма... Ты ведьма... — прошептал он глухим незнакомым голосом, приникая к ее груди.

–Люблю... тебя... — хрипло вдохнула воздух она.

Аля скользнула по его телу вниз, непослушными пальцами расстегивая рубашку. Одна пуговица с треском отскочила и покатилась по деревянному полу. Девушка, выдернув рубашку, прижалась горячими губами к плоскому смуглому животу, одновременно пытаясь расстегнуть ремень.

Митя опустился на колени рядом и опрокинул Алю на затоптанный грязный пол. Под коленом чавкнула раздавленная полусгнившая коробка, он, не глядя, отбросил ее в сторону. У Алиных запекшихся губ был вкус крови. Не помня себя, зверея от доселе неизвестного, зовущего первобытного инстинкта, Редников сгреб ее в охапку, задрал подол ее платья, дернул чулок, ощутив, что порвал его. Аля справилась наконец с ремнем на Митиных брюках — металлическая пряжка впилась в ее бедро, но она этого не почувствовала.

Митя навалился на нее всей тяжестью. Алино горло билось под его губами, она дрожала и вскрикивала, то изо всех сил вцепляясь

ногтями в его спину, то, словно обессилев, отпуская его, и вдруг широко распахнула глаза, выгнулась дугой и обмякла в его руках.

Небо в просвете окна посерело, и заголосила в больничном дворе какая-то назойливая птица. Аля неохотно приходила в себя после обрушившегося на нее сумасшедшего вихря, потянулась, приоткрыла глаза.

Митя стоял у окна, выбивал о деревянный подоконник неизменную папиросу. Даже не видя его лица, глядя в обтянутую светлой рубашкой спину, Аля поняла, что наваждение миновало, Дмитрий Владимирович Редников пришел в себя и теперь судорожно соображает, что делать и как выкрутиться из такой неудобной, невыносимой ситуации.

Девушка медленно, опираясь на руки, приподнялась и села на полу, натянула лиф платья, кое-как приладив оторванную бретельку. Неприятно ныл затылок, болели пересохшие губы. Аля стянула с ноги разодранный чулок, вытерла ссадину на локте, пригладила волосы, даже не заметив, что сжимает что-то в левой руке.

Митя закурил — струйка голубоватого дыма потянулась к потолку. Потом раздраженно стряхнул прилипший к рубашке мусор. Аля наконец поднялась на ноги, ощупью нашла на полу туфли, обулась. О том, чтобы остаться здесь, ждать вместе главного врача и о чем-то с ним договариваться, теперь и подумать было невыносимо.

— Я, наверное, пойду, — выговорила она. — Ты позвонишь?

— Позвоню, — глухо ответил Митя, так и не двинувшись с места.

На улице занимался солнечный летний день. Верещали птицы в запыленной темно-зеленой листве деревьев. Небо прояснялось и розовело.

Аля медленно брела по еще не проснувшемуся тихому бульвару. Идти было тяжело, словно что-то невидимое давило на плечи. В голове, кажется, не осталось ни одной мысли. Только тупое болезненное оцепенение.

Мимо медленно проползла поливальная машина. За ней тянулась полоса темного мокрого асфальта. Веселый водитель, высунувшись из окна, оглядел Алю, заметил и растрепанные волосы, и оторванную бретельку платья и, хохотнув, крикнул:

— Эй, красивая, где загуляла? Может, подвезти?

Его слов Аля не слышала, но от звука голоса будто очнулась, помотала головой и посмотрела наконец, что же такое сжимает в кулаке. На ладони лежала плоская металлическая пуговица от Митиной белой рубашки. И Аля выдохнула, подкинула пуговицу на ладони и сказала вслух:

–Решка...

Если еще несколько месяцев назад Редников мог считать себя человеком, уверенным в себе, умудренным жизнью, придерживающимся годами сформированных правил, то теперь невольно чувствовал себя совершенно растерянным, выбитым из колеи.

После ночи в больнице Дмитрий Владимирович нарочно не стал удерживать Алю. Он понимал уже, что рядом с ней не способен мыслить трезво, принимать решения. А решить что-то было необходимо. Но решить спокойно, обдумав все последствия. И он дал себе слово, что не станет ничего предпринимать, пока не разберется с остальными свалившимися на него проблемами.

Он дождался врача, перехватил его до обхода и добился обещания, что лечение Никиты станет держаться в строгой тайне, история болезни по выходе сына из больницы будет выдана ему, Редникову, на руки и ни в какие инстанции информация о Никите не пойдет. Итак, с этим он, можно сказать, разобрался.

Потом поехал в больницу к Тоне. Вялая, заторможенная от приема транквилизаторов, жена почти не разговаривала с ним, забилась в кресло и смотрела оттуда огромными испуганными глазами, как больное загнанное животное. Лечащий врач Антонины заверил Дмитрия, что лечение дает результаты, но «вы же понимаете, мы снимаем только симптомы, а сама болезнь, к сожалению, неизлечима».

«Как я могу их бросить? — решал Редников, возвращаясь домой после этого бесконечного, проведенного в больницах дня. — Полубезумная затравленная жена... Должно быть, в том, что произошло с ней, есть и моя вина. И я в ответе за нее, без меня она погибнет. Сын, молодой мечущийся дурак. Ни о чем не думает, все стремится что-то мне доказать. С такой наследственностью еще и употребляет всякую дрянь. С его характером он бог знает что с собой сделает. Нет, нельзя. Надо покончить со всем этим раз и навсегда».

Но как, как покончить? Когда там, в огромной пустой квартире, его ждет она? Такая маленькая, хрупкая, нежная! Кружащая голову, выматывающая всю душу. Кожа ее пахнет солнцем и медом,

прохладные волосы ее щекочут лицо, когда она склоняется над ним, тело ее, гибкое и сильное, так податливо гнется в руках.

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные».

И хочется сию же минуту развернуть машину, приехать к ней, открыть дверь своим ключом. И она рванется ему навстречу, обнимет, обовьется вокруг его тела.

А потом сказать жене: «Прости, я не хотел. Так вышло». Но врач говорит: «Слабое сердце. Оберегать от потрясений, волнений».

Сказать сыну: «Я забираю то, что по праву принадлежит мне». И потерять его навсегда. Он не простит, не простит никогда.

Сказать всему киношному начальству, так обеспокоенному моральным обликом служителей важнейшего из искусств: «Я не позволю никому вторгаться в мою частную жизнь». И забыть о кино, уехать вести кружок для начинающих сценаристов куда-нибудь в Нижний Тагил...

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь».

Это нечестно, несправедливо. Он не готов делать такой выбор. На одной чаше весов вся прошлая жизнь, на другой — Аля.

Нельзя. Придется стиснуть зубы и забыть о ней. Только как же им жить бок о бок дальше? Ведь придется встречаться, а это больно, невыносимо... Значит, нужно все-таки отпустить Никиту во Францию. И выбить разрешение на выезд для Али.

Редников подъехал к даче, вылез из машины, открыл ворота, ввел автомобиль во двор. Ему казалось, что за этот день он смертельно устал, вымотался. Он вошел на террасу. Глаша поздоровалась и принялась хлопотать, накрывая ужин. Пристально взглянув на хозяина, она принесла из кухни запотевший графин с водкой и пузатую хрустальную рюмку.

Редников с благодарностью кивнул ей:

— Спасибо, Глаша, я сейчас спущусь. Только душ приму.

Он направился к лестнице и вдруг остановился, помолчал и сказал быстро:

— Глаша, если вам не сложно, позвоните, пожалуйста, жене Никиты и скажите, что я обо всем договорился с врачом, Никита будет дома через две недели.

И Дмитрий Владимирович действительно принял меры, употребил все свои связи, встретился с нужными людьми и добился того, что в сентябре Никита должен был отправиться во Францию в качестве режиссера совместного советско-французского телевизионного проекта. Особенно трудно оказалось устроить в этот же проект Алю. Комитетчики выпускать Никиту с женой никак не хотели. Как же, ведь ему будет нечего терять, соскочит, и поминай как звали. Нет, оставить кого-нибудь из родни в заложниках на родине надежнее. Однако Дмитрию Владимировичу и тут удалось употребить свое влияние, и Аля была принята в группу редактором.

В середине августа Никита вышел из больницы присмиривший, притихший. Представлений больше не устраивал, с отцом держался ровно, с женой — с подчеркнуто вежливой заботой. Верный Коля в квартире на Котельнической больше не появлялся, не говоря уже о цыпочках. Никита целыми днями бегал по инстанциям, оформлял необходимые документы, знакомился с другими участниками съемочной группы.

О том, что Аля принята в группу редактором, ей сообщил Никита. Хочет ли она уезжать, никто ее не спросил. Впрочем, она не возражала, все правильно поняла — ее убирают, «задвигают на антресоль». Что ж, этого следовало ожидать. Пусть так. Теперь уже все равно.

В день отъезда моросил мелкий осенний дождь. Низкое сырое небо нависло над городом, цепляясь за карнизы домов. В воздухе застыл плотный серый туман. Машины двигались по улицам медленно, и тусклые огоньки фар проплывали мимо тротуаров.

Когда прибыли на вокзал, поезд уже был подан. Новенькие блестящие вагоны пахли свежей краской. Юные улыбчивые проводницы в отглаженных костюмах, все словно сошедшие с обложек журналов мод, должны были демонстрировать проклятым капиталистам первоклассный советский сервис. Вдоль вагонов сновали служащие, пассажиры, матери тащили за руки детей, не поспевающих за вокзальной суетой. Где-то в тумане звучал аккордеон, выпевая полузабытую мелодию довоенного танго.

Съемочная группа топталась на перроне. Руководитель группы и его заместитель — до странности похожие друг на друга, неброские, подчеркнуто обыкновенные, в мягких шляпах и серых болоньевых плащах — сосредоточенно проверяли документы, зыркали глазами по

сторонам. Корреспондент Володя, добродушный, смешливый, с короткой светлой бородкой, рассказывал что-то веселое оператору Сереже, суетливому малому в клетчатом пиджаке. Никита, хмурый, раздраженный, в разговоре не участвовал, поддерживал под локоть жену. Аля вежливо улыбалась, качала головой. Капли дождя застревали в ее недавно остриженных, уложенных в модную короткую прическу волосах.

Мать на проводы, конечно, не заявила. Алино сообщение об отъезде она приняла сурово. Объявила, что нечего дочери делать в логове проклятых капиталистов, нечего позорить мать.

— Как я товарищам объясню, почему моя родная дочь хвостом вильнула и за границу ускакала? — грозно вопрошала мать в телефонную трубку. И Аля ответила устало:

— Скажи им, что твоя дочь предательница родины и тебя с ней ничего не связывает.

На том и закончили разговор.

Сейчас же Аля изо всех сил старалась не поворачивать голову, не смотреть туда, где стояли, спрятавшись под зонтом, Митя и Тоня, приехавшие проводить сына. До нее лишь иногда доносились сквозь липкий туман запах дыма неизменных Митиных папирос и короткие всхлипывания расстроенной Тони.

— Ну что, покажем лягушатникам, что такое советская тележурналистика? Как вы считаете, товарищ режиссер? — Володя панибратски хлопнул Никиту по плечу.

Тот чуть заметно отстранился, раздраженно хмыкнув.

— Напомним им восемьсот двенадцатый год, — вторил Сережа.

— И докажем, что самые красивые женщины не во Франции, а в России. — Володя склонился перед Алей в галантном полупоклоне.

— Товарищи, товарищи, я попросил бы посерьезнее, — вступил заместитель руководителя. — Совместный советско-французский телевизионный проект — это большая ответственность, это наше слово... И к тому же после печально известного инцидента в Ле-Бурже...

— Вы знаменитый прыжок Нуреева имеете в виду? — хохотнул Володя с самым простодушным видом.

— Я думаю, все понимают, что я имею в виду, — прошипел заместитель. — Так вот, мы должны быть особенно бдительны. Любой

неосторожный поступок может быть воспринят западной прессой как манифест...

Резко загудел паровоз, и проводница, широко улыбнувшись, объявила:

–Граждане пассажиры, проходите, пожалуйста, в вагоны. Поезд отправляется.

Володя первым поднялся в вагон, за ним на подножку вскочил Сережа, следом двинулся, продолжая вещать, руководитель группы. Никита обернулся к родителям.

–Ну что, давайте прощаться?

Тоня бросилась к сыну, порывисто обняла, спрятала мокрое от слез лицо на его груди.

–Мамуль, ну что ты... — ласково приговаривал Никита, похлопывая ее по спине. — Ну не надо, люди кругом, неудобно. Не на войну ведь меня провожаешь.

Но Тоня не слушала, лепетала что-то бессвязное, милое:

–Ты вспоминай меня, ладно? Вспоминай и говори про себя: «У меня все хорошо, мама, все в порядке». А я тебя всегда услышу, даже если буду далеко-далеко.

Подошел Редников, мягко, но настойчиво отстранил жену, пожал руку сыну, сказал:

–Поедем мы, в самом деле. А то мама расклеится совсем.

И Тоня, словно вторя ему, надрывно зарыдала, уткнувшись в скомканный носовой платок. Никита кивнул, не глядя на отца, словно рассматривая что-то у себя под ногами. Митя неловко хлопнул его по плечу, выговорил:

–Ну ладно, удачи тебе, сынок. — И только теперь обернулся к Але: — До свидания.

«Что ж, это, должно быть, в последний раз, — думала Аля. — До свидания... А лучше прощайте! Прощайте, Дмитрий Владимирович Редников. Я не буду больше вас беспокоить. Я постараюсь».

Она взглянула на Митю, отметила появившиеся за эти полтора года серебряные нити на висках, горькую складку, залегшую между бровями, и неизменный, не меняющийся взгляд черных глаз. Взгляд, устремленный куда-то в глубь себя, спокойный и отрешенный. И только на самом доньшке глаз плещется едва заметная лихая искринка.

— До свидания, — прошептала Аля.

Тоня вцепилась в ее рукав, заголосила, заплакала:

— До свидания, Аленька. Ты уж там береги моего мальчика, заботься.

Поезд дернулся, лязгнули металлические колеса, но остался на месте, не тронулся. И Аля вдруг обернулась, слетела со ступенек и быстро пошла по перрону туда, где стояли еще Митя и Тоня.

Она не видела, как дернулось, словно от пощечины, лицо Никиты, как высунулся из окна купе встревоженный руководитель группы, окликая ее:

— Александра Юрьевна, Александра Юрь... — С непониманием уставился на Никиту. — Что происходит?

Никита, не отрывая тревожного взгляда от жены, вымученно улыбнулся.

Митя поднял голову, увидел приближающуюся Алю и замер. Она передумала? Остается? Сама приняла то решение, на которое не мог отважиться он? И значит, можно будет снова... Нет! Нет, нельзя! Все решено и подписано. Пусть уезжает!

Аля смотрела ему прямо в глаза.

— Возьмите. Это ваше. До свидания.

На ладони осталась металлическая пуговица от светлой летней рубашки.

— Что это? Что? — всполошилась Тоня.

Поезд тронулся и медленно пополз вдоль перрона. Аля вскочила на ходу и скрылась в вагоне. Редников еще несколько секунд видел ее сквозь оконное стекло — вот она идет по коридору, отвечает что-то Никите, отворачивается от назойливого руководителя группы, проходит в свое купе. Колеса застучали ровно и мерно, поезд набрал ход, и вагон, в котором уезжала Аля, оказался уже слишком далеко, чтобы рассмотреть что-то в окнах.

— Откуда это у нее? Это от той рубашки... Ты что, с ней... — не отставала Тоня.

Лицо ее исказилось болезненной гримасой вечной, съедающей ее изнутри ревности.

— Ну что за фантазии? Что, я извращенец? — устало отмахнулся Дмитрий Владимирович.

Протяжно загудел паровоз, и темно-зеленый хвост поезда скрылся в тумане.

На тумбочке возле дивана заверещал будильник. Никита что-то промычал, не открывая глаз, услышал, как повернулась на своей стороне постели Аля, поднялась, ударила ладонью по кнопке.

– Ника, пора, просыпайся. — Она легко потрясла его за плечо.

– Угу, сейчас, — пробормотал Никита, зарываясь в одеяло.

Аля распахнула окно. Запахло пыльным городским летом, горячими булочками из соседней пекарни. Стало слышно, как снуют под окном машины и стучат чьи-то быстрые каблучки по бульвару.

С этих звуков и запахов, до сих пор непривычных, действующих на Никиту как моментальный раздражитель, начиналось каждое утро вот уже два года. Все еще не открывая глаз, он слышал, как Аля прошла в ванную, повернула кран, как зашумела вода, ударяясь о литой чугун. За время, которое они прожили в Париже, Никита научился безошибочно определять, что делает жена, по звукам в квартире.

Нужно было вставать, собираться на опостылевшую работу, но Никита никак не мог заставить себя подняться. Он давно уже признался себе, что долгожданное покорение французской столицы не состоялось. Нынешняя его жизнь в Париже никак не походила на прошлую, студенческую, развеселую и бесшабашную. Телевизионный проект, в котором они с Алей до сих пор числились, не приносил ни особенных денег, ни удовлетворения творческих амбиций. Тупая, в зубах навязшая поденщина. О его студенческой короткометражке, наделавшей в свое время много шума, теперь никто уже не помнил. И когда Никита обращался к местным продюсерам с предложением снять собственное кино, те лишь неопределенно качали головой, выпускали в нос струйки вонючего сигаретного дыма и твердили вечное: «Надо подумать». Разумеется, связываться с неизвестным начинающим режиссером, к тому же гражданином таинственного и опасного Советского Союза, никому не хотелось. Здесь своих молодых гениев было не занимать. И Никита, давясь отвращением, ввязывался в мелкие коммерческие проекты: съемки рекламных роликов, концертных выступлений пробивающих себе путь поп-звездочек, — и

чувствовал, что начинает ненавидеть всю эту интеллигентную европейскую публику, да и самого себя заодно.

У его жены, как ни странно, дела шли в гору. Через несколько недель после приезда она раздобыла где-то подержанную, хрипящую и лязгающую зубами пишущую машинку и отстукивала на ней что-то вечера напролет. На Никитины вопросы отвечала туманно: «Да так, ничего особенного, безделки». А потом неожиданно продемонстрировала ему журнальный разворот с собственным, переведенным на французский рассказом. Над текстом значилось «Алекс Редон», и Аля со смехом объяснила, что выдумала себе этот псевдоним, дабы не бросать тень на известную фамилию публикациями во вражеской прессе.

Алины рассказы пришлись парижским читателям по вкусу, ее публиковали снова и снова, и Никита помогал ей сочинять новые псевдонимы, стараясь не показывать, как раздражает его уверенный и оптимистически настроенный вид жены, каждый день с радостью упархивающей на работу, как на праздник.

Он открыл глаза, морщась, оглядел небольшую оклеенную выцветшими обоями комнатушку, за окном которой маячил шпиль Нотр-Дам. На плитке у дальней стены закипал кофейник.

Поначалу ему казалось, что он никогда не привыкнет к этой нищенской обстановке после их московских хором. Но ничего, привык. Как привык и к вечной отстраненной сдержанности и деловитой собранности жены, к ее холодной доброжелательности и ласковой нелюбви. Какими счастливыми они могли бы быть в этой обшарпанной маленькой комнате, какими светлыми и свободными могли бы стать их дни и сладостными, безумными ночи. Как он надеялся, что, увезя ее оттуда, вырвав из-под влияния всевидящего ока отца, сможет заставить забыть обо всем и полюбить его, Никиту, человека, которого ей самим законом предписано было уважать и любить.

Он так и не смог добиться от Али, что произошло между ней и отцом тогда, когда его заперли в больнице. Почему она встретила его такая молчаливая, словно опаленная, надломленная. Впрочем, он и сам не хотел этого знать. Казалось, поезд, в который они сели тем дождливым осенним вечером, перечеркнет все, что было раньше, и

увезет их в совсем другую жизнь — радостную, счастливую, — жизнь, в которой можно будет начать все сначала.

А оказалось, что ничего не изменилось. Ровным счетом ничего.

Задребезжал телефон. Никита хмуро покосился на него, но трубку не снял. Из ванной комнаты появилась Аля, уже причесанная, в строгом темно-сером костюме. Процокала каблуками по полу, одной рукой сняла с плитки кофейник, другой сорвала трубку с аппарата, бросила:

– Оуі? [4]

Даже речь стала у нее теперь другой — более резкой, краткой. Настоящая европейская деловая женщина. Серьезная, собранная...

– Мадам Рошаль? — быстро говорила Аля. — Сейчас? К сожалению, никак не могу, меня ждут в редакции. Но я обязательно заеду после работы. Договорились.

Она укоризненно посмотрела на Никиту:

– Ты чего трубку не берешь? Если бы не успела добежать, пропустила бы важную встречу.

Никита изобразил на лице вежливый интерес.

– Звонили из издательства, которое в прошлом ноябре опубликовало мой рассказ, просили заехать, — рассказывала Аля, на ходу отхлебывая кофе и бросая вещи в маленькую элегантную сумку. — Интересно, что им надо? Может, еще что-нибудь возьмут?

– Буду очень рад за тебя, — бросил Никита.

Он вылез из постели и, лениво потянувшись, хмуро посмотрел в окно.

– А ты на съемку не собираешься сегодня? — аккуратно спросила Аля.

– Не напоминай, — отмахнулся он. — Успеется. На пять минут позже стану Феллини.

– Да брось, что ты киснешь, — улыбнулась Аля. — Тебе ведь удалось во Францию вернуться, получить возможность снимать. И все остальное получится. Нужно только не опускать руки, стараться, добиваться. Черт, мне в редакцию пора бежать. — Она торопливо покосилась на часы.

– Вот-вот, беги. Не трать время на свои душеспасительные проповеди, — с издевкой покивал Никита.

И тут же понял, что переборщил. Аля нахмурилась, сжала губы, и в глазах ее появилось то выражение, которое он всегда боялся увидеть, — выражение доведенного до предела человека.

— Никита, я давно хотела сказать тебе... — начала она.

И Никита не на шутку испугался. Уйдет она, и исчезнет последнее светлое пятно в жизни. И не останется ничего, только бессмысленная суета.

«Нельзя, нельзя ее отпускать. Она моя, моя, несмотря ни на что. Пускай холодная, отстраненная, закрытая, но все-таки моя. Единственное, что мне удалось завоевать, выдрать у жизни зубами».

— Эта атмосфера, в которой мы живем, твое постоянное недовольство... Ты всю душу из меня выпил. Давай я уйду, а? — продолжала Аля.

И Никита, подавив раздражение, шагнул к ней сзади, обнял, ткнулся повинной головой в плечо, поцеловал в ямку на шее и зашептал:

— Ну прости, кошка, прости... погорячился я.

Обнимая ее, оглаживая ладонями плечи, целуя белую прохладную шею под забранными наверх волосами, он чувствовал, как Аля сдается, как берет в ней верх извечная женская жалость и чуткость, и приговаривал уже смелее:

— Уйдет она... Куда ты от меня уйдешь? Ты же моя... Жена моя, любимая.

И, уже дурачась, щекотал ресницами ее шею, пытался запустить пальцы под пиджак. И Аля снова улыбнулась, чмокнула его в висок, выскользнула из рук, прошептав смущенно:

— Не сейчас... Пожалуйста... Мне бежать надо.

И, схватив со стола сумочку, скрылась за дверь.

Аля сама не могла разобраться, что удерживает ее возле этого избалованного полурбенка-полумужчины. Постоянная тревога за него, за то, что он может оступиться, пропасть и однажды погожим или, наоборот, дождливым вечером не вернуться домой, эта тревога росла в ней с каждым проведенным вместе месяцем. Рядом с Никитой она чувствовала себя старшей сестрой, матерью, подругой начинающего гения, но никогда не захватывала ее та лавина, никогда не ослеплял тот свет, который светил ей рядом с Митей.

Временами Але казалось, что она уже и не хочет ничего другого, и смирилась, как смиряются многие. Только по ночам, во сне, приходило ощущение навечно поселившейся в душе щемящей тоски. Аля довольно часто просыпалась с криком. Некоторое время Никита пытался растормошить, вытащить ее из лап кошмара, который снился ей почти каждую ночь со времени их отъезда. Потом перестал, наверное, привык.

Вечером того же дня она зашла за Никитой на студию, где он должен был снимать рекламный ролик. Неожиданно подвернулась подработка, и Никита, казалось, был доволен возможностью раздобыть немного денег. Правда, утром ей показалось, что предстоящая работа уже не радует его, даже раздражает, как раздражало все в последние месяцы. Но сейчас Аля была слишком взволнована обрушившейся новостью, которую хотела сообщить мужу, и потому забыла на время о его настроениях.

Она быстро прошла по коридору и заглянула в небольшой ярко освещенный павильон. Никита сидел за режиссерским пультом, казался увлеченным работой, и Аля примостилась на стуле у дверей, стараясь не мешать ему.

Снимали ролик для небольшой недавно открытой фирмы, производящей макаронны. На освещенной софитами площадке дергались в быстром танце две девушки-макаронины. На них были узкие яично-желтые трико, на головах — пышные парики с закрученными в спирали локонами. Одна из танцовщиц запрыгнула в стоявшую посреди площадки огромную, в человеческий рост, кастрюлю и, закатывая глаза, принялась изображать, как приятно ей вариться в ароматном бульоне. Другая же, выхватив откуда-то гигантский половник, с плотоядной улыбкой помешивала варево в кастрюле.

«Господи, бред какой», — покачала головой Аля. Никита, все еще не замечая жену, со скучающим видом поднялся с кресла, захлопал в ладоши и обратился к макаронинам по-французски:

– Стоп! Стоп! Девушки, милые, давайте поживее, что ли. А то у вас вид такой, будто вас этой лапшой всю жизнь кормили.

Одна из танцовщиц прыснула в кулак, другая раздраженно повела плечом. Никита дал команду, девушки заняли исходные места, пошла фонограмма, и танец макарон начался снова. Аля сидела как на

иголках — очень уж хотелось поскорее поделиться с Никитой тем, что волновало ее с самого утра. Однако съемка опять не заладилась, девушка оступилась, запрыгивая в кастрюлю, и Никита опять остановил процесс, объявив перерыв на пять минут.

Макаронины уселись на подоконник, болтая ногами, закурили тонкие сигареты и вполголоса защебетали о чем-то своем. Оператор прошелся по комнате, разминая затекшие плечи. Никита наконец обернулся и увидел Алю.

— Ты чего? — направился он к ней.

И Аля, уже не сдерживая радостного возбуждения, выхватила из сумочки отпечатанный на машинке лист бумаги с печатью внизу и развернула его перед Никитой:

— Па-ба-ба-бам!

— Что это? — устало сощурился муж.

— Контракт! — радостно возвестила Аля. — Помнишь, мне утром из издательства звонили? Они хотят выпустить сборник моих рассказов. Всех очень интересует, как живут люди в Советском Союзе. Правда ли, что у нас медведи ходят по Красной площади?

Никита промычал что-то неопределенное, и Алино сердце, весело подпрыгивавшее в груди весь день, с самого подписания контракта, мигом упало и отозвалось тоской. Она слишком хорошо изучила мужа, чтобы понять: Никита не рад за нее, не рад за них. Наверное, слишком озабочен собственными неурядицами, ни на секунду не может от них отвлечься. Аля почувствовала, как в ней закипает давнее невысказанное раздражение.

— Здорово, Алька, поздравляю, — вяло отозвался Никита и чмокнул ее в щеку. — Ты извини, мне тут доснять нужно. Подожди, если хочешь.

Он вернулся на место, взял мегафон в руки, съемка началась снова. Никита рассеянно следил за передвижением по сцене девушек-макаронин, все еще думая об Алином сообщении. Почему оно так на него подействовало? Ведь, если разобраться, контракт — это гарантия того, что Аля теперь останется здесь надолго, если не навсегда. Гарантия от того, чего он боялся все эти два года, — что в одно прекрасное утро, которое последует за не менее прекрасной ночью, полной сдерживаемых рыданий, Аля просто соберет вещи и уедет домой, в Советский Союз. Уедет и оставит его.

Теперь же, после подписания контракта, она вынуждена будет остаться здесь, с ним, на долгие годы. А если об этом станет известно на родине, то, возможно, и навсегда. За несанкционированные публикации по головке не погладят, могут и гражданства лишить...

Танец макаронин наконец завершился, Никита объявил:

– Снято! На сегодня закончим!

И услышал, как Аля повторяет негромко за его спиной:

– Всем спасибо за усталость!

Эта фраза, которую он много раз слышал от отца, болью отозвалась в голове: «Значит, все-таки помнит, не забывает сиятельного Редникова? Не ведется на подделки...»

Никита резко обернулся к жене и бросил, не сдержавшись:

– Господи, да ты просто неисправимая дура!

Он наблюдал за ней исподтишка всю дорогу до дома. Как меняется ее спокойное лицо в неровном свете разноцветных лампочек, протянутых между деревьями бульвара. Как плавно и легко ступает она по плиткам мостовой. Как ласково улыбается, помогая трехлетней девочке подняться с коленок. И глаза ее темнеют и светятся нежностью. На него, Никиту, она никогда не смотрит так. И детей заводить не хочет. Отговаривается, что когда-нибудь потом, не сейчас, когда их положение во Франции так неустойчиво. Ерунда все это! Просто она не хочет детей от него!

Он еле слышно заскрежетал зубами от своей обычной, выжигающей душу тоски. Аля искоса взглянула на него, но ничего не сказала.

В квартире надрывался телефон. Они услышали звонок, еще поднимаясь по лестнице. И Никита, шаря по карманам в поисках ключей, поворачивая ключ в замке, распахивая дверь, уже знал, чувствовал где-то внутри, что высшие силы вмешались в их запутанные отношения и теперь все устроится. И ему вдруг стало страшно, и казалось уже, что жизнь его с Алей, жизнь, которая — он знал — прервется, как только он поднимет трубку, была необыкновенно, сказочно хороша.

Никита ответил на звонок, Аля же прошла в ванную, включила воду, сняла украшения. Она внимательно всмотрелась в свое отражение в приколоченном над раковиной старинном, чуть подернутом дымкой времени зеркале. На нее глядела незнакомка.

Стройная блондинка с высокой элегантной прической. Высветленные добела пряди отливали серебром. Умело наложенный макияж подчеркивал насмешливое и чуть высокомерное выражение тонкого лица. Темно-синий твидовый пиджак, небрежно наброшенный на плечи, выгодно оттенял терракотовую блузку и придавал женщине в зеркале странной загадочности.

Из-за шума воды ей не слышно было, о чем говорит Никита по телефону. Впрочем, она и не хотела этого слышать. Наверняка ему поступит очередное предложение о работе, после чего он долго еще будет раздраженно ходить из угла в угол и ругаться, что он, творческий человек, вынужден в этой проклятой стране убивать свое время и талант, за жалкие копейки занимаясь пошлой ерундой.

Аля вышла из ванной, увидела выставленные на столик у дивана пузатые коньячные рюмки. Никита доставал из шкафчика над плитой бутылку. Он обернулся, и Аля испугалась, увидев его белое, мгновенно осунувшееся лицо, сухие, странно блестящие глаза.

– Выпьем, Аля, — произнес он необычным, глухим голосом.

– Выпьем... — растерянно протянула Аля.

Никита наклонил бутылку, янтарная жидкость полилась в рюмку. Рука его дрогнула, и на полированной поверхности стола растеклось маслянистое пятно.

Никита чертыхнулся, поднял рюмку:

– Не чокаясь.

И Аля вздрогнула, почувствовала, как сжимается что-то в груди и медленно холодеет сначала лопатка, затем вся левая рука, как невидимые ледяные пальцы поднимаются по спине, запутывают волосы, сдавливают горло. Она не могла отвести от Никиты сумасшедших глаз, долго хватала воздух побелевшими губами, прежде чем смогла выговорить:

– Что-то с отцом? Это из Москвы звонили?

И Никита вдруг усмехнулся — нехорошо, страшно, словно оскалился, — и истерично, пронзительно захохотал. Вытирая тыльной стороной ладони выступившие на глазах слезы, он ответил сквозь смех:

– Да жив он, жив, успокойся! Мама... Моя мама умерла...

Он отошел к окну, по дороге швырнув рюмку в раковину. Звякнули о металлическое дно осколки. Никита долго стоял,

прижавшись лбом к стеклу, и плечи его все еще вздрагивали, словно он никак не мог справиться со смехом. Аля залпом опрокинула рюмку, опустилась в кресло, чувствуя, как неохотно оттаивает ее скованное ужасом тело, как отступает оцепенение. В висках билось: «Он жив! Жив!» Ни о чем другом она пока думать не могла.

Никита же, справившись с собой, неожиданно резко обернулся, выволок из-под дивана чемодан и принялся беспорядочно бросать в него вещи. Грохнули о дно его черные ботинки, зацепился за вешалку рукавом светлый Алин плащ. Никита же, продолжая кидать одежду в чемодан, проговорил, быстро взглянув на Алю:

– Ну что ж, раз теперь место возле главного героя освободилось, можно приступать к развязке нашей затянувшейся пьесы.

Они с Никитой прилетели уже пять дней назад, успели как раз на похороны. Странно было видеть маленькое, утонувшее в пене белого шелка лицо Тони, такое спокойное, умиротворенное, как будто покинули ее наконец все страхи, разрешились сомнения, словно теперь она обрела утраченный при жизни покой. И прямо над ней бледное, нахмуренное, беспокойное лицо Мити. Как будто всю свою каменную невозмутимость он передал умершей жене. И совсем уж незнакомой была его поникшая, утратившая опору фигура.

Вначале он будто и не заметил Алю, смотрел мимо, безучастно слушал, что говорит ему Никита, потом повернулся, обжег взглядом темных воспаленных глаз и ничего не сказал. И такими мелкими, такими далекими и неважными показались вдруг Але все их прежние обиды, все недоговоренности здесь, в старом деревянном доме, придавленном к земле потерей хозяйки.

И вот минуло пять дней. Прошли похороны, но все тянулись бесконечные выматывающие поминки. Каждое утро приходили люди, рассаживались вокруг накрытого Глашей стола, вспоминали Антонину Петровну.

– И ведь красавица-то была в молодости... Веселая, задорная...

Митя рассеянно слушал грустные воспоминания, отвечал невпопад. И Але до боли хотелось взять в ладони его усталое лицо, освежить пылающий лоб, прижаться губами к тяжелым векам. Но было нельзя. Мельтешили вокруг люди, бродил по дому потерянный Никита, хлопотала Глаша, и оставалось только бесконечно собирать грязную посуду, перетирать тарелки, выставлять на стол рюмки, выносить из кухни аккуратные стопки золотистых поджаристых блинов и наблюдать, как Митя опрокидывает стопку за стопкой.

Аля прошла через гостиную, на ходу собрала со стола еще несколько рюмок, вышла в кухню, составила грязную посуду в раковину.

– Ох, спасибо, Алюшка, — поблагодарила склонившаяся над раковиной Глаша.

Аля принимала у нее мытые тарелки, вытирала их кухонным полотенцем и составляла на стол.

— А Дмитрий-то Владимирович, — сказала Глаша, словно продолжая давний, непрекращавшийся монолог, — так-то вот и сидит весь день, так и сидит, как дитя малое... Ох горе-то... Ведь, как бы там ни было, а больше двадцати лет вместе прожили, любили друг друга... Тяжело это, ох тяжело...

— Тяжело... — кивнула Аля.

«Любили»... Неожиданно вспомнились слова Мити: «Вы думаете, человеческие отношения определяются только любовью?» Что, собственно говоря, называют любовью? Кто выдумал это проклятое слово, кто определил, что им называть? То душевное безумие, обрушившееся на них в больничном сарае, — это любовь? Или любовь — это долгие годы, прожитые бок о бок с больной, издерганной женщиной, долгие годы терпения и заботы? И почему же он не ответил тогда на ее нахальный вопрос: да, люблю свою жену, она больна, безумна, но я люблю ее и никогда не предаю, не покину?

— Хоть не мучилась, легко отошла, как ангел, — продолжала Глаша. — Сердце не выдержало. «Скорая» приехала — а уже и все...

Аля рассеянно кивала, погруженная в свои мысли.

Вошел Никита, растерянно оглянулся по сторонам, словно не вполне осознавая, где он находится. Затем, собравшись с мыслями, обратился к Глаше:

— Там гости уже расходятся, отец со стола просил убрать. И фотографию мамину... — Голос его прервался, и Никита резко отвернулся, словно злясь на себя за несдержанность.

— Ох, иду-иду, — заторопилась Глаша.

Аля подошла к мужу, обняла за плечи, прошептала тихо:

— Ну что ты? Что? Надо держаться, взять себя в руки.

Никита дернулся, подался в сторону, отвернулся, часто моргая, и выбежал из кухни.

Вечером, проходя по опустевшему и полусонному дому, она видела сквозь стеклянную дверь на веранду, что Никита вместе с отцом сидит за столом над очередной бутылкой водки. Митя что-то объяснял Никите, вычерчивая пальцем по усыпанной папиросным пеплом скатерти. Сын, склонившись над столом, сосредоточенно кивал. И Але показалось, что впервые за все эти годы им удалось

наконец поговорить спокойно, без скрытого противоборства, без взаимных упреков и оскорблений.

Утром Митя к завтраку не вышел. Никита, позевывая над тарелкой с оладьями, сообщил Але, что отец уехал в министерство улаживать кое-какие вопросы.

Отхлебывая крепкий черный кофе, Аля внимательно наблюдала за мужем. Было в нем сегодня что-то новое, необычное. Пропала растерянность последних дней, да и вечное недовольство, раздражение, так заметное в Париже, тоже исчезло. В глазах Никиты появился блеск, который Аля мгновенно узнала: точно так же блестели глаза увлеченного работой Редникова-старшего тогда, на киносъемках.

«Они что-то решили вчера, — поняла она. — И Никита боится объявить мне об этом. Сюрприз готовит?»

Аля намеренно не стала ни о чем его расспрашивать, спокойно пила кофе, глядя поверх головы мужа в залитый солнцем сад. На подоконнике гудела случайно залетевшая в дом пчела. Парусом надувалась от легкого ветра голубая занавеска за Никитиной спиной. Золотился в солнечном луче тягучий мед в фарфоровой вазочке. И на Алю снова накатило чувство странного дежавю. Все это было уже когда-то, давно, в прошлой жизни.

Никита поерзал на стуле, встал из-за стола, прошелся по комнате, поправил покосившуюся фотографию на стене и снова с размаху сел на свое место.

— Знаешь что, Алька, — решившись, начал он.

— Что? — Аля посмотрела в его возбужденное лицо.

— Мне тут отец предложил кое-что, — широко улыбнулся Никита. — У него есть возможность выбить мне денег на ту короткометражку. Ну помнишь, которую я в Париже еще снимать начал, а эти жлобы финансирование прикрыли...

— Конечно, помню, — кивнула Аля.

— Совсем ведь немного доснять осталось, — объяснял Никита. — И, может быть, если снимать здесь, ее согласятся принять во ВГИКе в качестве дипломника. Если отец с кем нужно поговорит, конечно.

— Никит, это было бы здорово, — серьезно кивнула Аля. — Я же смотрела отснятый материал, там действительно хорошо может получиться.

«Если снимать здесь... — повторила она про себя. — Но ведь это займет много времени. А мне еле-еле удалось выбить отпуск на полтора месяца... Он не говорит главного. Опасается произнести вслух. Он не хочет... Не хочет возвращаться во Францию... Вот оно что!»

И, словно услышав ее мысли, Никита опустился на стул рядом с ней, взял ее руку и, заглядывая в глаза, проникновенно зашептал:

— И Аль... Если все получится... В общем, возвращаться туда мне нет никакого смысла...

— А что же... там? — осторожно спросила она.

— А что там? — взвился Никита. — Кому я там сдался? Что, мне до старости макаронины снимать?

— То есть ты остаешься здесь? Насовсем? — на всякий случай уточнила Аля.

— Мы остаемся! — радостно возвестил Никита, притянув ее к себе и по-хозяйски чмокнув в макушку.

«Ах вот как! — Аля медленно выпрямилась, глаза ее сузились. — Вот, значит, что вы решили вчера. Мы остаемся... Это так просто, так очевидно. Никита хочет свободы — и мы уезжаем, Никита наигрался и захотел стабильности — мы остаемся. Как удобно иметь при себе тряпичную куклу, одержимую комплексом вины и непобедимым чувством ответственности. Она никогда не выскажет своего мнения, никогда не станет препятствием в осуществлении планов... Ее можно передвигать куда вздумается, как пешку по шахматной доске. Никто из вас двоих, ни один, не додумался спросить меня, чего бы хотелось мне!»

Никита, не обращая внимания на молчание жены, продолжал расписывать тонкости грядущего съемочного процесса:

— Через неделю выедем в экспедицию в Казахстан. Отец обо всем договорится. За десять дней все доснимем и... Знаешь, я думаю, если смонтировать правильно, то и разницы между теми кусками, что там были отсняты, и новыми видно не будет... Ну а мелкие там всякие недочеты, это я исправлю, музыку наложим, где надо, дадим звуки природы, затонируем...

— Ты и за меня все решил? — довольно резко перебила Аля.

Никита остановился на полуслове, обернулся и оторопел, увидев незнакомое, жесткое и непреклонное выражение ее лица. Аля с трудом

сдержала нервный смех — очень уж глупо вытянулась его физиономия.

— Ну, я думал... — замялся Никита. — Ты... ты не поедешь? — осторожно спросил он.

— Нет, не поеду, — покачала головой Аля.

Никита отошел, сел на подоконник спиной к Але, свесив ноги за открытое окно. Солнце уже стояло высоко над лесом, возвышавшимся за забором дачи. В стороне промчалась, гроыхая, пригородная электричка.

— А как же... мы... — одними губами произнес Никита.

Аля с трудом расслышала его слова, заглушаемые сумасшедшим гомоном птиц в саду. Она подошла к мужу, положила руку ему на плечо.

— Никита, ты ведь решил уже все, правда? Тебе действительно там, во Франции, нечего делать. А здесь у тебя начнется новая жизнь, работа, та, о которой ты всегда мечтал... Я буду только тебе мешать.

Он ощущал прикосновение Алиной узкой ладони сквозь тонкую ткань рубашки. И ему казалось, что от пальцев ее на плече должен остаться ожог. Что ж, значит, ему так и не удалось отвоевать ее, отобрать, присвоить себе навсегда. Не удалось, нужно уметь проигрывать... Только вот обставить себя он не даст. Думает, ей удалось обвести его вокруг пальца? Торопится занять вакантное место? Еще бы, а то скоро очередь претендентов выстроится... Пускай уезжает, пускай! Пусть исчезнет из его жизни навсегда. Это все-таки легче, чем видеть ее здесь, с другим...

— Не доставайся же ты никому, — болезненно усмехнувшись, пробормотал Никита.

— Что? — не расслышала Аля.

— Знаешь, может, ты и права. — Никита взял с подоконника спичечный коробок, подбросил его вверх и поймал раскрытой ладонью. — Может, это из-за тебя у меня ничего не получается... — И, картинно хлопнув себя по лбу, продолжил: — Точно! Как мне раньше это в голову не приходило! Вот как только ты появилась, все сразу и пошло наперекосяк.

Он схватил Алю за плечи, сильные пальцы грубо впились в кожу, оставляя синяки. Никита вплотную придвинулся к Алиному ошеломленному лицу и прошипел со злостью:

–Ведьма ты, что ли?

Аля невольно отшатнулась от темного огня, горевшего в его глазах. Когда-то в такие моменты он очень пугал ее, казалось, он способен на любую жестокость, так сильна в нем эта клокочущая в груди ярость. Но, прожив с Никитой почти три года, Аля научилась не бояться этих его внезапных вспышек. Это ведь не что иное, как гнев ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. Вот он кричит, топает ногами, молотит кулаками по подушке, а через мгновение игрушка уже забыта и злость его рассеялась, будто ее и не было.

–Ведьма? — хрипло вопрошал Никита, заглядывая ей в глаза.

И Аля повела плечами, высвободилась из его цепкой хватки, сказала спокойно, со смешком:

–Я рада, что ты наконец это понял.

И слова ее отрезвили Никиту. Он фыркнул и, вжав голову в плечи, пошел в дом, бросив на ходу:

–Что ж, ладно. Значит, скажу отцу, чтобы только один билет заказывал, на меня...

Небо над темно-зеленым частоколом леса начало медленно розоветь. В окно потянуло утренним холодком. Засвистела в зеленых еще ветках рябины первая проснувшаяся птица. Прошла по улице дачного поселка пожилая молочница, позвякивая тяжелыми бидонами.

Никита ткнул последнюю сигарету в ошестинившуюся окурками пепельницу и, легко, беззвучно спрыгнув с подоконника, провел рукой по деревянной раме окна.

Как будто в насмешку судьба распорядилась так, чтобы их последнюю ночь они с Алей провели в той же комнате, что и первую — ту далекую серебристо-лунную ночь, когда ему казалось, что удалось отвоевать эту девушку, присвоить себе навсегда. Вот и на старых выгоревших обоях еще видны темные прямоугольники от плакатов музыкальных групп. С этой стены скалился Мик Джаггер, а вот здесь, на тумбочке, стоял бобинный магнитофон. А на этот подоконник влезла тогда Аля, изображая Наташу Ростову. Жизнь, конечно, самый лучший режиссер. Внимательный к деталям, точный и беспощадный.

Никита со злостью ударил кулаком по постели. Аля зашевелилась во сне, вздохнула, переворачиваясь на другой бок.

А может быть... Вдруг она передумала? Потому и лицо ее так умиротворенно, потому и улыбается во сне. Не вскрикивает, как обычно. Может быть, сейчас, через пару минут, она откроет глаза, потянется к нему и произнесет небрежно:

— Никит, поехали вместе, а?

Он напряженно смотрел в лицо жены, и под действием его взгляда веки ее задрожали, дыхание стало прерывистым, она заметалась на постели, вцепилась пальцами в край пододеяльника, судорожно всхлипнула.

— Ты что? Ты что? — прошептал Никита, глядя ее плечо. — Тише, успокойся, я здесь.

Но Аля, все еще во сне, выдохнула:

— Митя! Митя... Не уходи...

И Никита отдернул руку, словно обжегшись. Затем быстро стянул джинсы и лег рядом с Алей, но так, чтобы не касаться ее тела.

Аля вскрикнула и проснулась. Села на кровати, прижимая ладони к лицу, выровняла дыхание, покосилась на мирно спящего рядом Никиту. Кажется, не разбудила. Она решительно тряхнула головой, встала, высунулась в окно, с наслаждением вдыхая утренний воздух. Посмотрев на часы, подошла к кровати, склонилась над спящим мужем и позвала его вполголоса:

– Никита, пора!

И глаза его в ту же секунду распахнулись, и Аля невольно отшатнулась, ошеломленная их измученно-просящим выражением. Словно в последний раз пытался Никита остановить, удержать ее. Она мотнула головой, продолжая уверять себя: «Так будет лучше. Для всех будет лучше», и сказала ровно:

– На самолет опоздаешь.

Знакомая «Волга» поблескивала белым боком у ворот. Никита выволок на крыльцо два объемных чемодана и, кряхтя, потащил их к машине. Навстречу ему уже спешил шофер, поздоровался, принял у Никиты чемоданы и понес их. Никита вернулся в дом, снова появился на крыльце с небольшой матерчатой сумкой. Вслед за ним во двор спустилась Аля.

Они молча, почти не глядя друг на друга, шли к воротам. О чем теперь уже говорить, когда все решено и подписано. И так странно, неуютно и пусто на душе, словно только что навсегда закрыл за собой дверь старого привычного и любимого дома.

«Не бросай, не бросай меня, любимая, счастье мое, как же я без тебя...» — хотел крикнуть Никита, но вместо этого лишь кивнул на кусты у забора.

– Смотри, как сирень разрослась.

И Аля чуть улыбнулась, сказала словно про себя:

– Да... Верните головной убор, он дорог мне как память.

Никита весь сжался от ее слов и зашагал быстрее. Подойдя к машине, он склонился над багажником, помогая шоферу укладывать вещи.

– Не спешите вы так, четыре часа еще до самолета, — усмехнулся в усы водитель. Должно быть, думал, что Никите не терпится

отвязаться от благоверной и отбыть в царство командировочной свободы.

— Никит, а зачем столько вещей? — удивилась Аля. — Куда тебе два чемодана да еще и сумка?

Никита выглянул из-за крышки багажника, ухмыльнулся, глядя на нее с непривычной злой издевкой, и медленно произнес:

— Ну как же... Один чемодан мой, другой — папин...

— Папин? — Губы у Али онемели.

— Папин, — с деланным простодушием кивнул Никита.

И, отметив Алино ошеломленное лицо, не сдержавшись, хохотнул:

— Как? А он разве не сказал тебе, что тоже едет?

Но Аля уже развернулась и побежала к дому, не помня больше ни о Никите, ни о соблюдении принятых ими правил игры. Сердце бешено колотилось в висках, во рту пересохло. Она споткнулась о торчавший посреди дорожки корень дерева, но удержалась на ногах и, взбежав по ступенькам крыльца, влетела в дом.

На веранде Глаша сметала со стола крошки после завтрака. Она оглянулась на застывшую в дверях Алю, бледную, с сумасшедшими глазами, всплеснула руками:

— Господи, Алюшка, что ты? Ай случилось чего?

Аля промолчала, быстро прошла через веранду в дом, на секунду остановилась в дверях пустой, залитой солнцем гостиной и быстро взбежала вверх по лестнице. Прошла по коридору, заглянула в их с Никитой комнату, распахнула дверь Митиной спальни — никого.

Да где же он? Прячется от нее, что ли? За все эти дни не сказал ни единого слова и даже теперь не счел нужным поставить в известность, что уезжает... Да разве можно так с живым человеком?

Аля чувствовала, как кипит у нее внутри едва сдерживаемый гнев. Убедившись, что на втором этаже никого нет, она сбежала по ступенькам вниз, снова прошла через гостиную и остановилась на пороге кухни, прижимая ладони к пылающим щекам. И сердце сразу упало, прекратило сумасшедший стук, и ярость выкипела, испарилась, а горло сжалось от нахлынувшей горечи.

Митя рассеянно двигался по кухне, не замечая ее, суетливо открывал и закрывал шкафчики, щурился от яркого света. Лицо его, такое родное, близкое, было издерганным, усталым, веки припухли и

покраснели. Он наконец нашел то, что искал, вытащил из буфета початую бутылку водки, потянулся за рюмкой, и Аля отметила, как дрогнули его длинные сильные пальцы.

— Что же ты делаешь, Митенька? — с трудом выговорила Аля.

И тот, воровато отдернув руку от рюмки, обернулся и с потерянной улыбкой пожал плечами. Аля шагнула к нему, дотронулась до впалой щеки, поросшей темной щетиной. Он чуть сощурился, губы сжались в суровую складку, отстранившись, отошел к окну и, вытащив из пачки папиросу, принялся привычно выстукивать ее о подоконник.

— Вот едем с Никитой в экспедицию, — проговорил он неестественно спокойным голосом. — Работа начнется...

— Ты же не должен был ехать... И Никита говорил, что хочет сам...

Митя бросил на Алю как будто виноватый взгляд и тут же снова уставился в открытое окно.

— Сначала хотел... А потом решил, что со мной как-то сподручнее будет. Попросил помочь на первых порах...

Митя чиркнул спичкой, склонил голову, прикуривая.

— А как же я? — тихо произнесла Аля за его спиной.

Спичка, вспыхнув, обожгла пальцы. Он, чертыхнувшись, быстро заговорил:

— А ты вот что, ты поезжай в Крым. Тебе отдохнуть наконец-то нужно, тем более отпуск... Я легко тебе место в санатории устрою, прямо вот сейчас позвоню и устрою. Хороший санаторий, цековский... Пляж, летний кинотеатр, волейбольная площадка...

Аля, не слушая, приблизилась, быстро, словно опасаясь, что он прогонит ее, прижалась к нему, уткнулась лицом в грудь.

— А хочешь я останусь? Просто останусь здесь... с тобой...

Она сжала Митины пальцы, дотронувшись случайно до места ожога. У Мити перехватило дыхание. А ведь думал, что забыл, навсегда вытеснил из памяти этот запах солнца и лесных трав — запах ее волос, тяжелых, прохладных, забыл это ощущение, когда проводишь ладонью по ее спине, чувствуя каждый позвонок. Аля выдохнула, прижимаясь к нему все крепче, и Митя почувствовал, как глаза его заволакивает сладким туманом.

За окном прогудела машина, послышался веселый громкий голос Никиты, и Редников, вздрогнув, отстранился от Али. Нет, нет, нельзя!

Выкинь из головы, забудь, заставь себя забыть! Это жена твоего сына, твоего единственного сына. И он никогда тебе не простит...

— Нет, Аля. — Слова будто застревали в горле и получались какими-то вымученными, неестественными. — Ты поедешь в Крым. Будешь купаться в море, лежать под солнцем, засыпать на пляже под шорох волн, гулять под пальмами, смеяться... И ждать Никиту. Он мой сын и...

— Хватит! — резко выкрикнула Аля. — Хватит!

Она отступила на шаг, сцепила пальцы, закусилла нижнюю губу. Редников видел, как блеснули в глазах невыплаканные слезы. Аля справилась с собой, провела рукой по глазам, выдохнула:

— В Крым так в Крым...

И тут же со двора донесся нетерпеливый возглас Никиты:

— Бать, ты идешь?

Он показался под окном кухни, облокотился на подоконник снаружи, изучающе взглянул на жену, потом на отца и невесело усмехнулся.

«Что ж, на этот раз тебе, кажется, удалось всех их переиграть. Сам не выиграл, но и другим не уступил. Молоток!» — Он и сам не мог понять, отчего так противно было ему думать об одержанной победе.

— А то на самолет опоздаем, — подмигнул Никита.

— Иду, — кивнул Митя. — Сейчас документы возьму и позвоню кое-кому. Аля, тебе тогда вечером секретарь мой сообщит насчет санатория.

Митя вышел, скрылся и Никита, лишь слышно было, как он напевает во дворе:

— Первым делом, первым делом самолеты...

Аля подошла к столу, налила воды из графина и начала пить большими глотками.

Втроем они вышли из ворот, остановились у машины, несколько секунд напряженно молчали. Аля рассеянно смотрела, как перебирается через трещину в асфальте рыжий муравей.

— Ну что, вперед на трудовые подвиги? — натянуто-весело провозгласил Дмитрий Владимирович.

Он первым сел на переднее сиденье и резко захлопнул за собой дверь.

Никита постоял перед Алей опустив голову, затем, коротко обняв ее, бросил:

–Смотри тут, не урони честь фамилии Тальберг.

И влез на заднее сиденье «Волги». Взревел мотор, и автомобиль двинулся вперед по пыльной деревенской дороге. Аля так и стояла у обочины, приставив ладонь ко лбу, ощущая кожей, как оседает на лодыжках взметенный колесами песок. Она видела через заднее стекло, как обернулся Никита, махнул ей рукой и произнес что-то одними губами. Митя так и не повернул головы. Машина, поднимая клубы желтоватой пыли, скрылась за поворотом.

Аля опустила руку и медленно побрела к дому.

* * *

В купе было темно. Тусклая лампочка над моей головой освещала лишь страницы книги. Софья мирно спала, по-детски подложив под щеку ладонь. В ногах ее повизгивал во сне Тим.

Я больше не мог читать, чувствовал, что мне требовалась передышка. Все происходящее казалось каким-то тягостным навязчивым сном. Я уже не думал больше о том, каким способом проклятый Аль Брюно смог раскопать историю моей семьи. В конце концов, тогда эта несчастная круговерть наделала много шума, кто-то мог заинтересоваться, разузнать детали. Черт с ним, это не так уж важно.

Голова раскалывалась. Я сел на полке и сжал руками виски. Книжка съехала с подушки и глухо стукнулась о пластиковую перегородку, разделяющую наше и соседнее купе. Больше всего мне сейчас хотелось вышвырнуть мерзкую книженцию в коричневой обложке в окно. Но я не мог этого сделать, не мог не дочитать до конца, хотя и знал уже, каков он будет. Повесть засела у меня в голове, мучая и не отпуская, как прицепившаяся ненароком мелодия, как мотив того самого довоенного танго. Каждая страница вызывала воспоминание, которое я годами пытался убить в себе. Кажется, душу бы дьяволу продал, лишь бы не помнить.

Я встал, ухватился за металлическую ручку и потянул вниз оконную раму. Поезд медленно подползал к небольшой станции.

Вдоль рельсов тянулось широкое голое поле, на горизонте виднелись верхушки деревьев, поблескивали огоньки деревенских домов. Над серым станционным зданием клочьями висел влажный предутренний туман. Лязгнули колеса, и поезд остановился. Замигали какие-то дорожные огни, быстро прошла по перрону станционная служащая, и Софья, пробормотав что-то, проснулась, подняла голову, села, притянув к груди тонкое одеяло.

— О, я еще пьяная, — медленно выговорила она, прижимая ко лбу узкую ладонь. — Где мы?

— Какая-то станция, — пожал плечами я.

Девушка откинула одеяло, продемонстрировав мне шелк и кружево иссиня-черной комбинации, нашарила ногами туфли под полкой.

— Давайте выйдем, посмотрим!

Она встала, натянула прямо на комбинацию замшевый пиджак. Затем склонилась к щенку, убедилась, что звереныш спит, и дернула дверь купе.

— Ну что ж, пойдёмте, — отозвался я.

Софи, пока шла по вагонному коридору, спотыкалась на каждом шагу. Дверь последнего купе приоткрылась, и в щелочку на нас зорко глянул уже знакомый мне лиловый глаз проводницы.

«Большой брат не дремлет!» — усмехнулся я.

Софья же, увлеченная новым ночным приключением, не обратила никакого внимания на железнодорожного следопыта.

Я первым ступил на перрон и подал руку Софье. Она покачнулась, уцепилась за никелированный поручень и, поймав равновесие, спустилась ко мне.

Я закурил. Во влажном ночном воздухе повисло облачко дыма. Софья вынула из кармана пиджака пачку длинных тонких сигарет, вытащила одну и потянулась ко мне за зажигалкой. Я с трудом различал черты ее лица в густом тумане, только красноватый огонек сигареты светился совсем близко.

— Какая ночь, — прошептала Софи и неожиданно начала медленно кружиться, раскинув руки. — Тьма летела, густела рядом, хватала скачущих за плащи...

В туфлях на высоких шпильках она нетвердо ступала по платформе, я испугался, что мою порывистую попутчицу сейчас

утянет на рельсы, и поймал ее за руку. Софья по инерции налетела на меня, рассмеялась тихим переливчатым смехом.

– Осторожно, алмазная донна, поберегите колено, — пошутил я.

Софи чуть отстранилась от меня и откинула назад голову.

«Ну, этот трюк я уже видел», — отметил я.

– Так тихо, спокойно... — проговорила Софи.

Эта ниспровергательница устоев, кажется, готова была спорить даже с моими невысказанными мыслями.

– И запах... — продолжала она, всматриваясь в темноту расширенными глазами. — Пахнет влажной хвоей и еще чем-то... Может быть, луной?

– Это сырой землей пахнет, — объяснил я. — Видите, там за рельсами начинается поле.

Софи не понравился мой комментарий, слишком прозаический, должно быть. Она чуть заметно скривила губы и протянула разочарованно:

– Да? А у нас нет такого запаха. Везде асфальт...

Она выпустила мое плечо и потянулась, закинув руки за голову красивым, вероятно, не раз проверенным жестом.

– Нет, правда, здесь так хорошо, — почти пропела она. — Там вдали огоньки... — Софи наклонилась ко мне и предложила будто бы в шутку: — А давайте не поедem дальше... Останемся здесь навсегда...

– Навсегда? — улыбнулся я. — Интересно, Софи, как вы в ваши двадцать представляете себе «навсегда»?

– Мне двадцать три, — возразила Софи и внезапно проговорила низким чарующим голосом: — Только это совершенно не важно. Когда я говорю навсегда, я имею в виду навсегда.

Ее темные, глубокие и чуть озорные глаза вдруг глянули на меня как будто из прошлого. Я невольно вздрогнул. Кажется, наконец удалось вспомнить, поймать то странное ощущение дежавю, которое преследовало меня весь вечер. Мне показалось, что я узнал эти глаза. В этом-то и была загвоздка — лицо знакомое и глаза знакомые, а все вместе порождает обманчивое, ложное ощущение.

– Софи, а ваша... — начал я.

– Водку брать будете? — просипел вдруг над ухом хриплый грубый голос.

Софья, вскрикнув от испуга, отшатнулась от меня, я обернулся и увидел прямо перед собой одутловатую рожу с заплывшими поросячьими глазками и сизым грушевидным носом.

– Чистая как слеза, — прошамкала рожа.

Незнакомец многообещающе распахнул ватник, во внутреннем кармане брякнули бутылки. Я брезгливо покачал головой. Софья, уже справившись с испугом, во все глаза глядела на необычного продавца.

– Возьми, командир, недорого отдам, — пообещал мужик, похожий на ночного упыря.

– Благодарю вас, нам не нужно, — ответил я, отворачиваясь.

Упырь, не желая отставать, обошел меня, снова интимно заглянул в лицо, обдав тошнотворным запахом застарелого перегара, чеснока и прелого ватника.

– Бери, говорю, не пожалеешь. Пару возьмешь, так я цену скину маленько.

Софи захихикала, откровенно забавляясь.

– Спасибо, не нужно! — свирепо гаркнул я.

Упырь, подняв заплывшие очи к небу, развел руками и побрел дальше по перрону. Софья, отсмеявшись, сообщила мне:

– J'ai eu une belle peur. [5]

Я вскинул глаза и трагически развел руками, пародируя продавца. В ту же минуту упыриная рожа развернулась и крикнула нам:

– А то возьми, командир! Две за десятку, хрен с тобой.

Софья снова захохотала, и я, тоже едва сдерживая смех, произнес:

– Пойдемте-ка лучше спать.

Софи кивнула, шагнула к лесенке и вдруг, снова оступившись, смеясь, крепко прижалась ко мне.

– Ох, беда мне с вами, — покачал я головой и поднял девушку на руки.

Я внес ее в вагон, прошел по коридору в наше купе и опустил на полку. Тим повел ухом, вскинул голову, тявкнул спросонья и, положив голову на лапы, снова задремал. Софи откинулась на подушку, не сводя с меня темного проказливого взгляда. Но я уже снова потерял мелькнувшее воспоминание и не мог понять, отчего ее глаза вызывают во мне смутную тревогу.

– Спокойной ночи, Софи, — сказал я. — Постарайтесь заснуть, мы через несколько часов уже прибудем.

Девушка обиженно надула губы, но я, не дожидаясь новых приемов обольщения с ее стороны, взял книжку и вышел в коридор.

Постояв немного в тамбуре, я вернулся в купе, осторожно открыв дверь. Софи снова задремала, трогательно и как-то невинно подложив руку под голову. Я опустился на свою полку и раскрыл книгу.

Часть третья

Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.

«Песнь Песней»

Жаркое южное солнце било в переносицу и фиолетовыми шариками двоилось в глазах. Аля перевернулась на спину, вольготно раскинулась на жестком деревянном лежаке, уткнулась носом в потемневший локоть. Солнце горячим пятном легло на спину, словно выпаривая из тела вечную московскую сырость. Плеснула у самых ног морская волна, и мелкие капли брызнули на разгоряченную кожу.

— Я бренная пена морская... — прошептала Аля, почти не разжимая губ.

И волна откатилась назад, шипя и булькая на мелкой раскаленной гальке.

Время в Крыму тянулось медленно и бездумно. Проплывали мимо одинаковые золотисто-голубые дни, все чернее делалась узкая спина, все легче становилось на сердце.

Аля лежала, не поднимая головы. Плескались в прибрежных волнах дети, проходили мимо разодетые жены правительственных деятелей, голосили в мегафон массовики-затейники, а слезы все катились из глаз и капали сквозь перекладины лежака, оставляя темные круги на пыльной гальке. И Аля чувствовала, что становится легче. Уходит, словно тает под ярким солнцем, давно поселившаяся в груди тяжесть, леденящая пустота истекает слезами на мелкие камни.

«Я забуду, — понимала Аля. — Теперь я знаю, что смогу. Это не так уж трудно, не так уж больно. Я, кажется, уже забываю...»

Она перевела дыхание, вытерла тыльной стороной ладони глаза, потянулась к полотняной пляжной сумке за сигаретами.

«Просто нужно начать все сначала, вычеркнуть эти годы, как будто и не было их. Нельзя постоянно жить воспоминаниями, все время прикидывать, как повернулась бы жизнь, не скажи я того, не сделай этого. Эта непрекращающаяся работа над ошибками бессмысленна, она только мешает, не дает начать с чистого листа, вселяет какую-то неоправданную нелепую надежду. Нет, я уеду во Францию, поменяю квартиру, начну работать над сборником — и забуду. И если когда-нибудь международным звонком зазвонит телефон, я не сниму трубку. И нужно спешить, уезжать сейчас, пока

действуют еще разрешающие выезд бумаги, о которых позаботился... хм... Дмитрий Владимирович».

Аля поднялась и пошла к воде. Зашла в море по щиколотку, постояла немного, привыкая к соленой зеленоватой прохладе, вошла по грудь и поплыла, рассекая уверенными сильными гребками бликующую на солнце гладь. От воды пахло солью, арбузом. Аля нырнула, проплыла несколько метров под водой, вынырнула и легко рассмеялась. Стало неожиданно радостно и весело, словно новая жизнь, о которой она только что размышляла, уже началась.

«Вот только как быть с матерью, — нахмурилась Аля. Она развернулась и поплыла к берегу. — Предупредить ее о том, что я не собираюсь больше возвращаться? Ведь в таком случае мы, скорее всего, никогда больше не увидимся. Она не простит мне. Не простит предательства горячо любимой родины и... пятна в собственном личном деле. Как же быть?»

Аля вышла на берег, вытерлась полосатым махровым полотенцем. Оранжевое солнце уже клонилось к горизонту, проглядывало сквозь светло-зеленые веретенообразные кипарисы, высившиеся вдоль спускавшейся к пляжу каменной лестницы. Аля натянула сарафан прямо на мокрый купальник, заколола влажные волосы на затылке, вскинула на плечо сумку и пошла вверх по лестнице к белевшим в буйной зелени южного парка колоннам санатория.

«Как бы там ни было, я с ней поговорю, — решила она. — Хотя бы попытаюсь...»

Междугородный телефон был только в холле санатория — просторном прохладном помещении с мохнатыми пальмами в кадках и полукругом плюшевых кресел, выстроившихся напротив телевизора. В креслах дремали благообразные плешивые старички в летних парусиновых брюках. Кажется, все они были несколько глуховаты, так как телевизор орал на полную мощность, повествуя о рекордном урожае зерновых в колхозе Ливадии. Аля подошла к столику с телефоном, набрала номер и прикрыла ладонью ухо, чтобы слышать что-нибудь, кроме голосащего телевизора.

Мать ответила после первого же гудка, как будто стояла у телефона и ждала важного звонка. И Але на мгновение представилась темная узкая прихожая их ленинградской квартиры, выцветшие, отставшие от стен обои, старенький, перебинтованный изолентой

аппарат на колченогой тумбочке. И мать, прямая, коротко стриженная, в вечном темно-зеленом мешковатом пиджаке с профсоюзным значком на лацкане. Ее лицо, открытое и решительное, сурово сжатые губы, серые пронизательные глаза. Аля смутно помнила, что когда-то давно, когда жил еще с ними отец, играла с ней, шутила, смеялась. Потом же, после развода, мать замкнулась, отгородилась от всего, полностью ушла в работу. Теперь уже Аля понимала, что обида, нанесенная ей отцом, была слишком сильна, что мать так и не смогла забыть горечь и боль, которым он был виной. А дочка, так похожая на отца, светловолосая и сероглазая, слишком сильно напоминала его. Должно быть, одним своим видом вызывала у матери воспоминания о той страшной незаслуженной боли. Наверное, поэтому мать больше никогда не ласкала ее, не интересовалась ее переживаниями, не расспрашивала о личном. словно, навсегда посвятив себя общественной деятельности, отказавшись от личного счастья, она не желала знать о том, как складывается это личное у других. И все же, как бы там ни было, это была мама, единственный родной человек на всем белом свете. Единственный, кроме... Нет, просто единственный!

— Мама! — В голосе Али сквозило замешательство.

— А-а-а... — протянула мать на том конце провода. — Явилась?

— Я ненадолго, мама, скоро опять уезжаю.

— Смотри, как бы в следующий раз тебе обратно дорогу не закрыли, — строго предупредила мать.

— Мама, ты знаешь... — начала Аля и смешалась.

Непонятно было, можно ли говорить о таких вещах по телефону. И, даже если можно, как сказать матери?

— Дело в том, что я... надолго уеду, наверное, — выговорила Аля. — Не знаю, когда в следующий раз...

— Надолго, ненадолго — это все равно! — отрезала мать. — Ты знаешь мое отношение к твоим поездкам.

— Да, но в этот раз... — Аля снова замаялась.

— Александра, давай по существу, — скомандовала мать. — Я на партсобрание опаздываю, ты меня в дверях поймала... Что ты хочешь?

— Ничего, мама, я так... Беги, — ответила Аля и долго еще слушала протяжные гудки в трубке, не решаясь опустить ее на рычаг.

Так и не смогла сказать матери о своем решении. Да ей, кажется, было и неинтересно. Так, значит, как же? И о ней забыть, начиная

новую жизнь? И ее вычеркнуть из памяти?

Аля сделала несколько шагов по мраморному скользкому полу, рассеянно взглянула на экран телевизора и, чуть не вскрикнув, судорожно прижала пальцы к губам. Передавали местные, крымские новости. Шел репортаж с какого-то культурного мероприятия. На экране мелькали торжественные физиономии известных актрис, актеров, видных деятелей советской культуры. И вдруг в промелькнувшей череде лиц она увидела Митю. Он появился на экране всего лишь на мгновение, но Аля не могла не узнать эти прямые широкие плечи, гордый поворот головы, ироничную задорную улыбку. Она медленно опустилась в кресло.

Телевизор надрывался голосом диктора:

– Председателем жюри кинофестиваля стал Дмитрий Владимирович Редников, специально приглашенный в Ялту для того, чтобы открыть это красочное мероприятие. Ради участия в кинофестивале Дмитрий Владимирович был вынужден покинуть съемочную площадку в отдаленном районе Казахстана...

«Он здесь! Приехал! Ко мне приехал!» — отчетливо поняла Аля. Сердце гулко колотилось, подпрыгивало под тонкой тканью летнего сарафана. Аля уже не помнила, что всего полчаса назад намеревалась стереть Митю из памяти, навсегда вычеркнуть из жизни, и только напряженно вглядывалась в экран.

Улыбчивая журналистка о чем-то спросила председателя жюри, и камера выхватила лицо Редникова крупным планом. Сдвинув широкие темные брови, Митя, казалось, смотрел с экрана прямо на Алю.

– Верное решение принять нетрудно, — произнес Митя, отвечая на вопрос журналистки. — Обычно самой правильной бывает первая реакция, первый порыв. А вот последовать этому порыву, не удариться в сомнения и переживания бывает значительно труднее.

Репортаж кончился, мелькнула заставка прогноза погоды, и Аля, прижав ладони к щекам, побежала в свой номер, легко перепрыгивая через ступеньки.

В комнате она мгновенно скинула плетеные босоножки без задников, стянула через голову сарафан, распахнула шкаф и принялась перебирать платья. Сняла черное в пол, с разрезом до бедра и глубоким вырезом на спине, приложила к себе, подошла к зеркалу. Из

круглой металлической рамы на нее глянуло скуластое кошачье лицо с лихорадочно горящими глазами.

«Что ты делаешь? Что делаешь? — схватилась за голову Аля, кинула платье на кровать. — Ведь знаешь же, все про него знаешь. Ведь сколько раз уже случилось получать от судьбы по морде. И вот опять?»

Но все равно она, вскинув руки, проскользнула в струящееся платье и придирчиво осмотрела в зеркале свое отражение.

Банкет по случаю завершения кинофестиваля был назначен на вечер. Солнце скрылось за покатыми склонами гор, сгустились сумерки, и на город опустилась пахнувшая прибоем и пряностями южная темь.

Дмитрий Владимирович Редников уныло оглядел нарядно украшенный длинный зал. Прямоугольные, покрытые накрахмаленными белыми скатертями столы были придвинуты друг к другу, образуя гигантскую букву Т напротив небольшой высвеченной прожекторами сцены. Тяжелые складчатые портьеры на окнах отделяли зал ресторана от шума и суеты курортного города. Натертый паркет блестел, как водная гладь. По стенам пробегали разноцветные огни, отбрасывая загадочные тени на лица присутствующих, делая их выразительнее, моложе. Гости удобно расположились за уставленным дарами природы столом. Среди богатых закусок возвышались запотевшие бутылки с коньяком, водкой, маня присутствующих своим не местным, заграничным видом. К ним сиротливо жались разнообразные крымские вина.

Оркестр снова грянул, заглушив гул голосов еще трезвых работников киноискусства. Непринужденные разговоры за столом стихли, взгляды, за секунду до этого направленные друг на друга в поисках какой-нибудь нелепицы в костюме или прическе рядом сидящего коллеги по цеху, обратились к сцене. Аккорды, прогремев, затихли. На авансцену вальяжной походкой вышел представитель встречающей стороны — местный обкомовский деятель в черном официальном костюме, хитро улыбнулся в усы, поглядывая на притихших гостей. Он широким гостеприимным жестом обвел банкетный зал, отчего-то подмигнул притаившимся у края сцены музыкантам, прокашлялся и цепко ухватил микрофон.

–Итак, дорогие товарищи, хотелось бы подвести итоги нашего масштабного культурного мероприятия...

Редников не вслушивался в разглагольствования обкомовского массовика-затейника, рассуждавшего о бесценной роли коммунистической партии в славном советском киноискусстве. Больше всего ему сейчас хотелось подняться и выйти из этого разукрашенного зала, скрыться от подобострастных улыбок, не дожидаясь момента, когда торжественный банкет плавно перетечет в обычную пьянку с претензией на избранность и богемность.

–И, говоря о великих наших советских творцах, прославленных деятелях важнейшего из искусств, нельзя не выразить восхищения председателю нашего уважаемого жюри Дмитрию Владимировичу Редникову, — продолжал свою оду оратор.

Дмитрий скривился. К нему тут же обернулись внимающие речь гости, затрещали аплодисменты, мигнула вспышка фотоаппарата представителя местной газеты. Редников сдержанно поклонился, не поднимаясь из-за стола, но оратор не унимался:

–Не скромничайте, Дмитрий Владимирович, дорогой вы наш. Встаньте, почтите, так сказать, своим вниманием...

Редников, досадуя на навязчивого управленца, поднялся и раскланялся, холодно блеснув глазами, не в силах сдержать издевательскую усмешку. С противоположного конца стола ему восторженно хлопала затянута в бордовый шелк Светлана, исполнительница главной роли в его последней картине.

Банкет шел своим чередом. Уже отзвучали все заранее подготовленные речи, отзвенели рюмками обязательные к исполнению тосты, оркестр заигрывал что-то лирическое, и затоптались перед сценой нетрезвые пары.

«Кажется, еще полчаса, и можно будет незаметно исчезнуть», — решил Редников, намеренно не обращая внимания на призывные взгляды Светланы.

Музыка стихла, пары разошлись... Оркестранты отдыхали, настраивая инструменты. В эту минуту стеклянные двери, ведущие с террасы в банкетный зал, распахнулись, и на пороге появилась тонкая женская фигурка в струящемся черном платье.

–Кто это? Это еще кто такая? — озабоченно прошипела Светлана.

— Может, Катрин Денев? — пьяно сощурившись, предположил сидевший рядом с ней Казначеев. — Говорили же, что она будет...

Редников взгляделся в изящный, словно выточенный талантливый скульптором силуэт, и узнал эту женщину...

Вся какофония звуков, наполняющих зал: пытающиеся перекричать друг друга голоса, хлопанье откупориваемых бутылок, звон посуды, нестройные звуки музыкальных инструментов — неожиданно стихает. В воздухе одиноко звенит последний аккорд настраиваемого саксофона.

Хрупкая черная фигурка словно застывает у ярко освещенных стеклянных дверей. Несколько секунд женщина горделиво, с вызовом оглядывает присутствующих и, заметив за столом Митю, направляется к нему. В напряженной тишине отчетливо слышен стук шпилек по навощенному паркету. В глубоком вырезе черного платья видна узкая спина незнакомки.

Митя, словно замороженный, медленно, как в немом кино, поднимается. Он выходит в центр зала. Одинокий луч софита выхватывает из темноты его белую расстегнутую на груди рубашку. Женщина приближается и, не говоря ни слова, опускает изящные руки на плечи Редникова.

Незнакомка необыкновенно хороша собой, она словно сияет нездешней, русалочьей красотой. Луч струится по широким плечам мужчины, высвечивает черные, чуть тронутые сединой на висках волнистые волосы, широкий разлет бровей, сжатые губы.

Митя взглядывается в дымчатые, зовущие, затягивающие на самое дно глаза и на секунду испытывает извечный порыв — бежать от этих насмешливых, проникающих в самую душу глаз, как от неминуемо надвигающейся беды. Но, словно вмиг утратив силу воли, лишь еле слышно произносит:

— Здравствуй, Аля!

И тут же, словно только и ждал этого сигнала, взмахивает палочкой дирижер, затягивает томительную тревожную мелодию скрипка, причитает, словно вымаливая прощение, исповедуется, рыдая и насмехаясь одновременно. И вот уже весь оркестр вступает, и звучит мелодия старинного довоенного танго «Счастье мое...».

Музыка звучит лишь для двоих, окутывает, обманывает, обволакивает. Тонкие пальцы Али легко касаются Митино

подбородка. Словно больше ей нечего скрывать, она шепчет с ангельской улыбкой:

— Потанцуем, Митенька?

И Митя, не помня себя, обхватывает сильными руками ее гибкий стан и, поддаваясь звучащей мелодии, уверенно движется, ведя партнершу по гладкому паркету.

Поблескивают в темноте музыкальные инструменты, рвется и ломается пронзительная давно забытая мелодия. И Аля гнется и откидывается в его руках. Когда она прогибается назад, ему видны ее отчаянное запрокинутое лицо, дрожащая впадинка на шее. Когда же выпрямляется, приникает к нему, он ощущает знакомый медово-яблочный запах ее тяжелых волос. А музыка все дрожит в темноте, и кажется, танцу не будет конца и можно кружиться так всю жизнь, неотрывно глядя в глаза друг другу.

Вот тонко, надрывно звенит последний аккорд, и становится слышна напряженная тишина, нависшая над столом. Но нет сил разомкнуть руки, отпустить приникшую к нему хрупкую женщину. И Митя говорит властно:

— Пойдем!

Крепко ухватив Алю за тонкое запястье, ведет ее к выходу. Резко хлопает стеклянная дверь, и пара исчезает в черноте ночи, словно и не было их никогда в зале.

Море мерно шумело, тихо плескалось о деревянные борта лодки. Солнечные блики вспыхивали и гасли на легкой зеленоватой ряби. В синем бесконечном небе плавился солнечный диск. Пахло нагретым воздухом, солью и еще чуть-чуть хвоей с берега. Аля, откинувшись на борт лодки, запрокинула голову. Солнце закружилось над ней в бешеном южном танце. Она почувствовала, как в уголках глаз вскипают слезы, и смежила веки.

Потом Аля долго смотрела на Митю из-под ресниц. Тот сидел на корме, греб сильно и уверенно. Узкие весла мерно двигались. Под дочерна загоревшей кожей Митиных рук вздувались мускулы. Лица его Александра почти не видела из-за яркого, бьющего прямо в глаза света. Лишь темный силуэт на корме — смуглая, в мелких капельках пота широкая грудь, откинутаая назад гордая голова, сильные руки, босые ноги под закатанными штанинами светлых летних брюк. Она кожей чувствовала его взгляд, ощущала, что он смотрит на нее, смотрит пристально, не отрываясь. И Аля медленно улыбнулась ему счастливой безмятежной улыбкой.

Как доехали в тот вечер до Ливадии, добрались до приморской дачи, на которой поселили Митю представители принимающей стороны кинофестиваля, Аля совсем не запомнила. Выйдя из ресторана, Митя сразу же остановил такси, посадил Алю в машину, властно, ни о чем не спрашивая, назвал водителю адрес. Всю дорогу они молчали, впрочем, Аля и не расслышала бы тогда его слов, слишком уж сильно колотилось в груди сердце.

Автомобиль остановился у увитых диким виноградом ворот, и Митя, не говоря ни слова, повел ее через сад к укрытому среди акаций белому дому. Над деревьями нависло горячее черное южное небо, остро и пряно пахли цветы в саду, гремели цикады в сухой, выжженной солнцем траве. Аля опасливо ступала по незнакомой, усыпанной гравием дорожке, и Митя взял ее под руку. Она вздрогнула всем телом, ощутив прикосновение его кожи, такой горячей под белоснежной рубашкой. И Аля крепче вцепилась в Митину руку, не

отпуская, не собираясь рисковать ни мгновением неожиданного счастья.

– Не зажигай свет, — попросила она, когда вошли в дом.

И Митя ответил совсем рядом, одними губами:

– Хорошо.

И вот уже эти губы прижимаются к ее губам, и разливается по всему телу теплая волна. И черное платье скользит вниз, и Аля переступает через него босыми ногами. И невидимые сильные руки осторожно поднимают ее в воздух, и вот она уже прижата к горячей груди.

– Какая ты легкая, — хрипло шепчет Митя.

И от его приглушенного голоса бегут мурашки вдоль позвоночника. Митя прикасается к ней, и каждая ее клеточка отзывается навстречу ему, и тело делается податливым и гибким. И вот он поднимает ее на руки и несет куда-то в плавно покачивающуюся темноту.

Утром Аля проснулась чуть свет и долго боялась открыть глаза. Горло сжал липкий ужас — что, если Мити не окажется рядом? Если он опять передумал, испугался самого себя, понял, что зашел слишком далеко? Что, если за ночь он успел покинуть дачу, уехать из Крыма, скрыться неизвестно куда? Не разжимая век, она протянула руку, нащупала рядом теплое плечо и только после этого открыла глаза.

Неяркий утренний свет проникал в комнату сквозь легкую кружевную занавеску. Аля увидела совсем рядом спокойное Митино лицо, сомкнутые веки, черные ресницы, смуглые впалые щеки, губы. Она потянулась и дотронулась до краешка его рта кончиком мизинца. Темные брови дрогнули, и Митя, не просыпаясь, отвернулся. Аля чуть слышно рассмеялась, откинувшись на подушку. Счастье было таким полным, кружащим голову, что страшно было даже подумать о нем, осознать, что произошло.

Редников жадно вдыхал соленый морской воздух, расправлял под оранжевым солнцем уставшие от гребли плечи и ощущал впервые, кажется, за много лет радостное биение жизни во всем теле. Это странное чувство полной отрешенности и эйфории казалось особенно пронзительным, чуть горчило на губах. Может быть, потому, что он точно знал — это не навсегда. Удалось вырвать у жизни несколько мгновений, и нужно наслаждаться ими, вдыхать полной грудью и

стараться не думать о той минуте, когда придется снова разжать руки и выпустить собственное бьющееся в ладонях счастье в темную морскую глубину.

Аля пошевелилась, приоткрыла глаза и тихо прошептала по-французски:

– Elle est retrouvé... [6]

– Что? — не понял Редников. — Говори по-русски, пожалуйста.

– Ее обрели... — мечтательно повторила Аля.

Затем приподнялась, посмотрела на него уже более осмысленно и с улыбкой объяснила:

– Вечность. Солнце, слитое с морем.

Белая рубашка Редникова, в которую была одета Аля, съехала с ее плеча, обнажая сияющую под солнцем кожу. Ветер бросил выгоревшие белые пряди на Алин лоб. И Дмитрий, повинувшись мгновенно вспыхнувшему желанию, которое он не должен был больше сдерживать, оставил весла и опустился на дно лодки рядом с ней.

– Почему вечность?

Она прислонилась к его широкой надежной груди, капли морской воды покатались по спине, и сладкая дрожь пронзила тело.

– Мы останемся в вечности, ты и я, навсегда... Наши мысли, наша любовь никогда не оборвется... Неужели ты этого не чувствуешь? — шептала Аля между поцелуями.

– Чувствую, — выдохнул Митя.

И, прежде чем окончательно отдаться солнечному водовороту, успел еще подумать: «Вечность... Нет, ничего такого не ощущаю...»

Вечером позвонили из Союза кинематографистов. Равнодушный высокий голос, непонятно даже, женский или мужской, сообщил, что для Редникова оставлена бронь на завтрашний самолет в Москву. Дмитрий Владимирович успел забыть о том, что сам распорядился заказать для него билет: не хотел болтаться в Крыму без дела после закрытия фестиваля, думал встретиться в Москве с сыном, помочь в работе над отснятым материалом.

«Значит, все», — догадался Редников.

– Билеты доставят вам на дачу с курьером, — поведал бесполой голос.

– Билеты? — непринужденно осведомился Дмитрий. — Почему билеты?

— А вашей... мм... спутнице билет не нужен? — холодно уточнила телефонная трубка.

«Спутнице... Ну конечно. Ведь все видели тогда, на банкете, — быстро соображал Редников. — Значит, нашлись уже доброжелатели, сообщили куда следует. Впрочем, может, и без доброжелателей обошлось. Этот обкомовский массовик-затейник тоже смотрел в оба».

— Пока ничего не могу вам сказать, — отрезал он. — В любом случае буду ждать курьера завтра в девять.

Он положил трубку, выстучал о телефонный столик папиросу, закусил зубами бумажную гильзу, но так и не закурил, задумавшись.

«Как неудачно. И главное, сейчас, когда только что отправлена на утверждение заявка на новый сценарий. Конечно, времена уже не те, за аморалку из Союза кинематографистов не попрут. Но на крючок возьмут и будут до самой смерти капать на мозги — нам о вас кое-что известно, так что сидите тихо, не высовывайтесь. Но это только в том случае, если все ограничится пятью днями на даче. Там тоже ведь люди сидят, понимают: Крым... отпуск... все мы грешны, Дмитрий Владимирович, чего уж там, хе-хе. — Редников передернулся от отвращения, представив себе похабную ухмылку этого борова Ивана Павловича. — Если же они вместе прилетят в Москву, тогда скандал неминуемый. И вот тут уже последствия предсказать трудно. Жена единственного сына... Никита, правда, говорил, что они решили разойтись, но кому до этого будет дело. — Дмитрий прошелся по комнате — просторной, светлой, уставленной добротной импортной мебелью — еще бы, специально оборудованная дача для дорогих гостей солнечного Крыма. Будьте как дома, ни в чем себе не отказывайте, а мы уж вас выведем на чистую воду... Одному богу известно, в какие щели они понапихали „жучков“. Мда...»

Снова задребезжал телефон. Редников в замешательстве снял трубку. Сквозь треск донесся далекий голос Никиты. Сын воодушевленно рассказывал о заключительных съемочных днях, потом сообщил, что вчера отсняли последний эпизод и завтра он, как и договаривались, будет уже в Москве.

«Никита пока ничего не знает, — сообразил Дмитрий. — И не узнает, если только я вылечу завтра в Москву, как и собирался. Ему не донесут. Им выгоднее будет сохранить этот козырь на будущее и шантажировать меня им бесконечно. А сплетни... Сплетни легко

пресечь. Вот что, я завтра же отправлю его сюда. Попрошу, чтобы дачу сохранили за мной еще на две недели. Он приедет, они с Алей помирятся, и все заткнутся. Ведь это будет означать, что она ждала здесь, на даче, его, своего мужа».

— Хорошо, я понял, — будничным тоном выговорил он в трубку. — Никита, извини, плохо слышно. Завтра все решим.

«Вот только как, как оставаться в Москве, зная, что они здесь, в этом самом доме, что она улыбается Никите так, как улыбалась мне, зная, что он дотрагивается до ее груди, перебирает пальцами ее золотистые волосы... Господи, какая мука!..» — Никогда раньше он не испытывал ничего подобного — смеси ревности, отчаяния и томительного желания.

Редников открыл дверцу полированного шкафчика, налил себе коньяку и быстро осушил бокал. Голова приятно прояснилась, темное видение отступило.

«Ничего, — с легким сарказмом сказал он себе. — Ничего, так лучше будет для всех. А об этом... Что ж, раньше надо было думать. Теперь остается одно — разрешить ситуацию так, чтобы никто не пострадал».

Он поставил стакан на столик, вышел из комнаты и по ступенькам террасы спустился в сад.

Солнце уже спряталось за кромкой моря. Стемнело, на небе выступили колючие яркие звезды. Редников увидел Алю на пляже у воды.

Красноватая тревожная луна высвечивала пламенеющую дорожку на бесконечной гладкой поверхности притихшего моря. Митя стоял молча, ошеломленно наблюдая, как Аля, одетая в мерцающий лунный луч, словно дикая грациозная кошка, движется к нему. «Это последний вечер, когда я вижу ее... последний», — крутилась у него в голове неотвязная мысль. И Редникову стало вдруг жгуче, нестерпимо стыдно за то, что он собирался совершить с Алей. Взять и своими руками разрушить ее мир, ее неожиданную сказку, холодно рассмеяться, глядя прямо в эти преданные, до боли любящие глаза.

Аля как будто почувствовала какую-то перемену и, обеспокоенная, попыталась заглянуть в его обласканное полутьмой лицо. Митя слегка отстранился, спрятал горящие мучительным, адовым пламенем глаза в ее распущенных струящихся волосах, а

потом, как безумный, подхватил ее на руки и с хриплым стоном припал к ее губам. От его поцелуя у Али закружилась голова.

–Пусти, сумасшедший! — выдохнула она.

–Никогда! Моя добыча! — со смехом прорычал Митя.

И Аля, все еще смеясь, обхватила его шею, прижалась губами к виску. Митя рухнул вместе с ней на сияющий бархатный песок, стараясь усилием воли вытеснить из груди щемящую тоску.

Теплый летний ветер ласково волнуется белые шторы на приоткрытом окне, наполняет комнату запахом моря, кипарисов, пальмовых листьев, опутывает все вокруг какой-то особенной южной ленью. Солнце стоит уже высоко в небе, ложится горячими кружевными пятнами на усыпанную гравием дорожку в саду, на упругие лепестки роз под окном, на широкую кровать в просторной чистой комнате. На измятой постели разметалась во сне белокурая молодая женщина.

Дверь в комнату осторожно отворяется, и входит высокий широкоплечий мужчина. На нем строгий светло-коричневый летний костюм, галстук, в руке небольшой «дипломат». Лицо сумрачное, поделовому сосредоточенное. Он тихо опускается на край кровати и смотрит на спящую.

Аля вздрагивает во сне. Голова ее начинает метаться по подушке, она всхлипывает, вскрикивает, открывает глаза и видит перед собой Митю. И мгновенно отчаяние сменяется лучистой улыбкой, она садится на кровати, протягивает к нему руки. Выжидающее напряженное выражение его лица меняется, когда он видит эту обращенную к нему улыбку. Сам невольно заулыбавшись, он дотрагивается до растрепанных шелковистых волос, в которых смешно застряли перышки от подушки.

Отбросив легкую простыню, Аля с радостным возгласом обвивает Митину шею руками:

— Доброе утро!

Она запускает пальцы в его жесткие с проседью волосы, настойчиво целует и пытается утянуть вслед за собой на кровать. Но Митя почему-то не поддается...

Аля взглянула на него с удивлением и легкой обидой, прошептала соблазнительно:

— В чем я провинилась, мой господин?

Увидела, как нервно дернулся его рот, и в ту же секунду заметила все остальное: строгий деловой костюм, «дипломат» у кровати, а главное — выражение его лица, суровое, отстраненное.

В груди толкнулось острое, страшное предчувствие беды. Аля чуть отстранилась, машинально притянула к обнаженному телу тонкую простыню, выговорила с трудом, боясь, что дрогнет голос:

– Ты куда-то собираешься?

– Да. В Москву, — скупно улыбаясь, ответил Митя.

– В Москву? Но почему?..

– Аля, — глухо сказал Редников, не глядя на нее. — Вчера звонил Никита, он возвращается, и...

Она отшатнулась, как от чего-то опасного, выкрикнула, испугавшись звука собственного голоса:

– При чем здесь Никита? Мы с ним разводимся, ты же знаешь... И мне наплевать...

– А мне не наплевать, — бесцветным голосом отчеканил Митя.

Он отвернулся, вытащил из ящика стола документы, проверил паспорт, сунул его в карман пиджака, заговорил, не оборачиваясь:

– Мне скоро пятьдесят. Это мой единственный сын, и других детей у меня уже не будет. Аля, это — все. Все, что я мог тебе предложить... Ты же умная женщина, я прошу тебя... давай закончим все... без слез и истерик... Все эти игры.

Происходящее казалось Але каким-то невыносимым бессмысленным ночным кошмаром. Так бывает во сне — самый дорогой близкий человек вдруг оборачивается к тебе, и вместо любимого лица видишь чье-то чужое, злобное, оскаленное. Митины слова почти не доходили до ее затуманенного отчаянием сознания. Она встала, машинально завернувшись в простыню, медленно, как сомнамбула, прошла по комнате, повторяя шепотом:

– Игры?..

– Все слишком сложно... слишком... У меня работа, сын... А ты его жена, всего-навсего жена. Мне этого не простят. Да и я сам себе теперь не прощу... никогда...

Митя обернулся к ней, и в темных глазах его читалось безумие. Он привлек к себе Алю, она почувствовала, как короткая нервная дрожь пронзила все его такое сильное, такое родное тело.

– Аля, мне нелегко сейчас, пойми. Я ни одной женщины в жизни не желал сильнее, чем тебя... Ты — мое наваждение... — прошептал он куда-то в ее волосы. — Но жить так, с этим наваждением... сложно... то есть невозможно, Аля, понимаешь? Ты говорила,

вечность... В этой вечности, в моей вечности, ты навсегда останешься со мной...

– Ты врешь! — отчаянно выкрикнула она, упираясь кулаками ему в грудь. — Врешь!

И Митя отпрянул, словно от пощечины.

– Ты все это время врал... — яростно прошептала Аля, опускаясь на край кровати. — Желал... Вот именно, желал... Любить ты не умеешь.

Она сама понимала, что речь ее бессвязна, слова путаются. Казалось, комната сорвалась с места и кружится в бешеном вихре, стрекот цикад в саду невыносимо гудит в голове.

Митя сел рядом с ней, свесив голову, сказал устало и терпеливо:

– Аля, пойми, человек не может все время думать только о себе! У меня есть сын, которого я люблю больше всего на свете. Ты ведь всегда это знала...

– Замолчи! — пронзительно вскрикнула она. — Ради бога, замолчи!

Она вскочила, прижала стиснутые руки к груди.

– Я не верю ни одному твоему слову! Ты просто трус! И никого ты не любишь, ничего не жаждешь так, как этого своего проклятого спокойствия, своей удобной и налаженной жизни! Ты так трясешься за свое благополучие, за все это! Кто-то чего-то тебе не простит... Да всем плевать на чужую жизнь, так же как тебе всегда было плевать на мою!

Митя тоже поднялся с кровати, губы его искривила знакомая снисходительная усмешка. Он подхватил «дипломат», направился к двери и на ходу бросил через плечо:

– Эти слова я уже слышал. От своего сына. Видишь, как много у тебя с ним общего. У вас всегда найдется тема для беседы.

Аля секунду остекленело смотрела на захлопнувшуюся за ним дверь. Боль в груди взрывалась, выстреливала в голову ослепительными вспышками. Почти теряя рассудок, не сознавая, что делает, Аля бросилась вдогонку, путаясь в волочившейся за ней по полу простыне. В коридоре шарахнулась от нее чопорная горничная в кружевной наколке.

Аля настигла Митю на лестнице, вцепилась в рукав пиджака. Пуговицы оцарапали костяшки судорожно сжатых пальцев.

— Посмотри на меня! — взывала она, как раненое животное. — Тебе что, этого мало? Что во мне не так? Скажи!

Редников покосился на застывшую в коридоре горничную, не отвечая, продолжил спускаться по лестнице, на ходу пытаясь разжать Алины пальцы. Аля, не отпуская, следовала за ним.

— Я знаю, ты меня не любишь! — задыхаясь, быстро говорила она. — Не имеет значения, да, для меня не имеет... Я люблю за двоих! Я буду ждать тебя, где скажешь и когда скажешь! И никто не узнает, никто!

Митя взглянул на ее лицо, искаженное отчаянной истерикой, на мерцающие от невыплаканных слез дымчатые глаза, на лихорадочные пятна на скулах и сказал, собирая остатки решимости:

— Аля, не унижайся, пожалуйста!

Ему удалось наконец вырваться из ее цепких рук. Редников распахнул дверь и вышел на террасу. Разгоревшийся солнечный день ослепил его, и он помедлил секунду на ступеньках. И тут же снова рядом оказалась Аля, исступленно простонала:

— Не уходи!

Дмитрию казалось, что еще секунда промедления, и он не устоит перед этой яростной мольбой. В голове вспыхнула вдруг сцена из детства — поваленная новогодняя елка, рыдающая мать, вцепившаяся в руку отца, хромовый сапог, легко отбросивший хрупкую женщину в угол комнаты. И что-то тяжело навалилось на грудь, отдаваясь ноющей болью под левой лопаткой. Стараясь глубже дышать, успокоить поминутно проваливающееся в воздушные ямы сердце, он быстро, не оглядываясь, пошел к воротам, за которыми стояло такси. Аля бежала рядом, не обращая внимания на острые камни, одной рукой зажимая у груди простыню, другой хватаясь за Митину руку.

Они поравнялись с воротами, Митя коротким резким движением оттолкнул ее и вышел. Аля, уцепившись за створку ворот, прохрипела:

— Так что, я тебе больше не нужна?

И Митя, справившись с подступившим удушьем, коротко бросил:

— Нет.

Он сел в машину и захлопнул дверь. Автомобиль двинулся прочь. Аля, уже не сдерживая отчаянных рыданий, сползла на землю, скорчилась на усыпанной гравием дорожке и, сжав руками голову, простонала:

– Я не могу жить без тебя! Не могу!..

...Она покинула дачу в Крыму в тот же день, словно спасаясь от страшной эпидемии. Побросала в сумку вещи, выскользнула из дома, не прощаясь с суровыми вышколенными горничными, долго брела по выжженному пыльному шоссе, затем забралась в попутный автобус. Надсадно болела голова, там же, где положено было находиться сердцу, свистела пустота, словно Митя выстрелил в нее, оставив в груди сквозное ранение.

Тем же вечером самолет доставил ее в Москву, и, только оказавшись в аэропорту, Аля поняла, что здесь ее больше никто не ждет. О том, чтобы поехать в квартиру на Котельнической или на дачу, и помыслить было нельзя. Аля разыскала в записной книжке телефон старой институтской подруги, позвонила из автомата, и та с радостью пригласила ее к себе.

Дни, остававшиеся до отъезда во Францию — к счастью, обратный билет, купленный еще тогда, до Крыма, у нее сохранился, — Аля провела словно в спячке, не выходя из дому, почти не разговаривая, стараясь не думать ни о чем. Казалось, даже собирается в дорогу она по инерции.

И вот теперь поезд мчал ее во Францию.

За вагонным окном потянулись массивные металлические балки железнодорожного моста. Аля вышла в тамбур, дернула дверь, и та неожиданно поддалась, распахнулась. Далеко внизу плескалась темная вода, ветер бил в лицо, громыхали колеса.

«Вот так нагнуться — ниже, ниже, отпустить поручень, оттолкнуться и ухнуть в черную пустоту», — екнуло что-то внутри. Она склонилась ниже, увидела, как проносятся мимо ровные, потемневшие от времени края шпал, голова закружилась, к горлу подступила тошнота... И Аля внезапно испугалась, изо всех сил вцепилась в гладкий металлический поручень, отпрянула и с силой захлопнула дверь.

Она вернулась в купе, приветливая попутчица предложила ей присоединиться к скромному дорожному ужину. Аля рассеянно поблагодарила, села к столу, машинально поднесла ко рту бутерброд, откусила и снова, как там, в тамбуре, почувствовала дурноту.

«Да что это со мной? — недоумевала Аля. — Отравилась?»

Эти странные приступы не оставили ее и по приезде в Париж. Воздух в собственной квартире казался ей затхлым, спертый. Привычный утренний кофе горчил, а купленные вечером продукты наутро казались несвежими. Аля обратилась в поликлинику при советском посольстве, где маленькая круглая женщина-врач, смеясь, объявила ей:

– От чего ж тебе лечиться, рыбка ты моя? Ты ж беременна. Шестая неделя.

Теперь в голове у нее рисовалась лишь одна счастливая картинка: она укачивает на руках черноглазого малыша, ее бесценное сокровище, точную копию Мити. Аля отчего-то сразу решила, что у нее будет сын. И приняла эту новость безропотно, будто бы она и не нарушила многие из ее планов. Ей показалось абсолютно логичным такое завершение их с Митей отношений, словно она давно была к этому готова.

Аля подкралась к зеркалу и посмотрела в него ликующим взглядом. Вид у нее был, как у заядлого картежника, вытащившего козырь из рукава, в глазах горело торжество победы. Она теперь не одна! Аля с любовью и горькой нежностью погладила свой пока еще плоский живот. И пусть у Мити совсем другая жизнь, пусть он в очередной раз отрекся от нее, ей теперь все равно. Она богаче всех людей на земле. У нее есть то, что ни Мите с его мрачным эгоизмом, ни Никите с его демонстративной любовью у нее никогда не отобрать. Никогда! Пускай они никогда не узнают, ЧТО она у них выкрала.

На работе сообщение об отказе Никиты от должности режиссера проекта восприняли недоброжелательно. Тем более что Редников-младший не счел нужным явиться для объяснений сам, откуда-то сверху пришла официальная бумага об отказе Никиты Дмитриевича от дальнейшего сотрудничества — и только. На студии перешептывались и поглядывали на Алю косо.

—Что же вы, Александра Юрьевна, — озадаченно спросил руководитель проекта Виталий Анатольевич, укоризненно поглядывая на Алю выцветшими глазами сквозь толстые стекла очков. — Как же вы мужа своего бесценного не привезли? Где мы теперь режиссера найдем на его место? Придется закрывать проект...

Аля же, сама удивляясь невозмутимому спокойствию, которое поселилось в ней после посещения поликлиники, с безмятежной учтивостью ответствовала:

—Вы знаете, Виталий Анатольевич, мы с мужем считаем себя не вправе вмешиваться в частную жизнь друг друга и привыкли уважать решения второй половины.

Руководитель хмыкнул, зорко глянул на Алю поверх очков и записал что-то в неизменный серый блокнотик.

В конце концов проект все-таки закрыли. Однако почти все члены съемочной группы сумели так или иначе подсуетиться, чтобы остаться работать на Западе. Оператор Сережа сумел устроиться в съемочную группу советско-французского фильма, корреспондент Володя перешел в редакцию «Юманите». Туда же неожиданно пригласили и Алю.

С тех пор как заместитель руководителя группы объявил им о закрытии проекта, Аля со дня на день ждала вызова из посольства с приказом о возвращении в СССР. Она даже придумала, что будет делать в таком случае: вернется на родину, временно поселится у матери в Ленинграде, потом постарается получить направление на работу в какой-нибудь отдаленный край, где можно будет спрятаться, осмотреться, укрыть будущего ребенка, не ожидая каждую минуту визита кого-нибудь из Редниковых.

И Алю действительно вызвали в посольство, но вопреки ожиданиям принял ее не какой-нибудь важный чин, генерал в орденах, а все тот же серый, незаметный Виталий Анатольевич.

—Что ж, Александра Юрьевна, — начал он с неопределенной интонацией своим бесцветным голосом. — Есть для вас предложение — должность редактора газеты «Юманите». У вас хороший язык, имеется опыт жизни за границей. Да и коллектив для вас будет не совсем новым, пересекались по работе.

—О, я с удовольствием, — поспешно ответила Аля.

—Но вы имейте в виду, — продолжал наставлять ее Виталий Анатольевич, — мы ждем, что вы оправдаете оказанное вам доверие. Особенно после безответственного поступка вашего мужа... Мы ждем от вас не только четкого выполнения ваших должностных инструкций, но и всяческого вообще сотрудничества и содействия.

Аля, изобразив на лице радостную улыбку верноподданного тупицы, горячо закивала:

—Конечно, конечно. Как же иначе?

Про себя же решила: «Содействия от меня ждете? Ну ждите-ждите, дорогие... Не дождетесь!» Руководитель поднял на нее сонное лицо, и Аля неожиданно заметила, что глаза у него вовсе не выцветшие, а, наоборот, быстрые, цепкие, внимательные. Он,

прищурившись, посмотрел на Алю, и та почему-то поежилась под его взглядом, нервно застегнула верхнюю пуговицу пиджака.

— Надеюсь, мы поняли друг друга, — все так же вяло процедил Виталий Анатольевич. — До свидания, Александра Юрьевна. Помните, что теперь у вас начнется совсем другая жизнь. Удачи!

Он приблизился к ней, потряс в своей влажной костистой ладони Алину руку, и девушку невольно замутило от донесшегося до нее неприятного крысиного запаха.

«Он на мышиноного короля похож, вот что! — установила Аля, на ватных ногах выбираясь из начальственного кабинета. — Такой же серый, скользкий и хитрый».

Впрочем, думать о неприятном разговоре теперь, когда впереди действительно новая жизнь, ей не хотелось, и она постаралась выбросить кошмарный образ из головы.

Первым делом Аля сменила квартиру. Жить в маленькой студии с вылинявшими обоями и шпилем Нотр-Дам за окном было слишком тяжело. Здесь все было наполнено расплывчатыми воспоминаниями: и продавленный кожаный диван, и старое кресло-качалка, в котором Никита часто сидел с утренней газетой, и синяя чайная чашка с отбитой ручкой на полке для посуды... И Аля, посоветовавшись с новыми коллегами, сняла маленькую двухкомнатную квартирку с видом на парк. Квартира была менее богемного вида, чем их с Никитой первое жилье, зато чистая, аккуратная. К тому же в ней имелась пристроенная мансарда, в которой можно сделать детскую. Стены в комнате Аля выкрасила в голубой цвет, повесила воздушные белые занавески, парусами надувавшиеся на ветру, обставила помещение светлой деревянной мебелью. Теперь все было готово к появлению малыша.

На работе Алю приняли приветливо — предоставили ей небольшой, но уютный отдельный кабинет, в первый же день перезнакомили со всеми сотрудниками, заверили, что Аля сможет в любое время вернуться в редакцию после рождения ребенка.

Работа над сборником рассказов тоже шла своим чередом. Але, конечно, приходилось скрывать эту свою параллельную жизнь от коллег, публикация книги в зарубежном издательстве могла грозить ей серьезными неприятностями. И уж конечно, Виталий Анатольевич не одобрил бы этого непатриотичного поступка.

В мае у Али родилась девочка. Когда мужеподобная медсестра впервые положила малышку ей на руки, Аля сначала с недоумением вглядывалась в багровое сморщенное личико, утонувшее в белоснежных пеленках. Она смотрела на младенца и не верила, что это ее ребенок, тот самый, которого она гладила через живот, который толкал ее ножками в последние месяцы. Нет, это было странное, незнакомое существо, и Аля понятия не имела, как наладить с девочкой контакт. Но вот малышка завозилась в пеленках, смешно вытягивая губы трубочкой, и разомкнула припухшие веки. И Аля вздрогнула от неожиданности так сильно, что медсестра, испугавшись за ребенка, придержала его мощной рукой. Прямо на Алю смотрели знакомые черные глаза — загадочные, цыганские. Аля почувствовала, как дрогнуло сердце, заныло, словно старая случайно задетая рана. Бережно прижала она крахмальный сверток к груди, осознавая, что дороже, чем это пока чужое, неведомое ей существо, у нее никого уже в жизни не будет...

Александра Юрьевна Редникова сидела за рабочим столом своего отдельного кабинета и торопливо выстукивала на машинке статью о недавно прошедшей в Париже выставке современных художников. Материал нужно было сдавать в понедельник. К тому же необходимо освободить время для работы над новым рассказом — редактор литературного журнала вряд ли согласится на отсрочку. Всю предыдущую неделю Аля почти совсем не занималась своими профессиональными обязанностями. Ее время полностью поглотила забота о крохотном, беззащитном и самом дорогом для нее существе. Девочка слегка простудилась, гуляя с няней, и Аля выхаживала ее, вспоминая старые народные рецепты — молоко с медом, гоголь-моголь... И вот теперь, когда ребенок снова здоров, она находилась в цейтноте. Аля одновременно пыталась придумать новый сюжет о злоключениях диссидента Лени Пожарского и исправить все огрехи в статье о выставке.

Телефонный звонок ворвался в кабинет редактора «Юманите», когда Аля пыталась одной рукой прикурить новую сигарету от старой, почти потухшей. Александра Юрьевна машинально протянула к телефонной трубке унизанную массивными кольцами узкую руку.

— Слушаю вас, — официальным тоном по-французски ответила она, прижимая трубку к уху плечом.

Золотистый каскад уложенных под Марину Влади волос плавно перетек на левую сторону. Аля поправила на груди овальный медальон, который она носила с момента рождения дочери — внутри была вложена прядь волос малышки и выбита дата ее рождения.

— Слушаю вас, — повторила она уже по-русски, так и не прикурив сигарету.

В трубке затрещало, защелкало, и вдруг совсем рядом раздался голос, такой знакомый, что Аля от неожиданности чуть не выронила телефон.

— Здравствуй, кошка, — грустно сказал ей голос Никиты.

Вот оно, то, чего она боялась все последние месяцы. Нашел, выследил, узнал про ребенка. Аля почувствовала, как немеет, наливаясь тяжестью рука, сжимавшая телефонную трубку.

— Здравствуй, — сделав над собой усилие, произнесла она.

— Ну как ты? — робко спросил муж.

— Хорошо. Все хорошо...

— Аля, это, наверное, глупо... — тоскливо продолжал голос. — Я узнал, что ты теперь работаешь в «Юманите»... У вас скоро будет ежегодный праздник, много наших к вам отправляется. И я мог бы попробовать приехать. — Он помолчал и добавил уже совсем тихо: — Я скучаю по тебе, Алька. Как ты там совсем одна?

«Не знает! Ничего не знает!» — вспыхнула в Алиной голове мгновенная мстительная радость. Она откинулась на спинку кресла, только теперь почувствовав, как онемела от напряжения спина.

— Нет, Никита, нет. Это невозможно, — нарочито холодным тоном произнесла Аля в трубку.

Теперь, когда опасность миновала, она старалась быстрее закончить тягостный разговор, отгородиться от этого голоса. Слишком хорошо помнила, какое влияние он имеет на нее. Допустишь минутную слабость, и снова окажешься прочно повязана паутиной, сплетенной из невыносимого чувства вины и жалости.

— Нет, извини, — отрезала она.

— Нет... — повторил Никита где-то далеко.

— Никит, я понимаю, что мы с тобой в дурацком положении, — начала Аля. — Нужно как-то оформить развод, но я не знаю, как это сделать... Может быть, через посольство...

— Да-да, наверное. — Голос его звучал глухо и безнадежно. — Давай как-нибудь потом об этом. Рад был тебя слышать. Пока.

В ухо запищали короткие гудки. Аля положила трубку и сжала голову руками, стараясь сосредоточиться на работе. Как бы там ни было, а статью нужно закончить, неожиданный звонок бывшего мужа вряд ли станет достойным оправданием для главного редактора «Юманите».

Никита опустил трубку на серый металлический аппарат и вышел из переговорной кабинки. Он спустился по ступеням Центрального телеграфа на улице Горького. Над головой поблескивал в лучах солнца темно-синий глобус. По улице спешили хмурые москвичи.

Вот так. Долгие месяцы поисков, почти случайно раздобытый номер телефона — и короткий бессмысленный разговор. А сколько смутных надежд, сколько планов. Дурак несчастный! Как же, вдруг она одумалась, образумилась, оценила... Теперь он отчетливо понял, что давно и прочно вычеркнут из ее жизни, задвинут, забыт. «Оставь ее. Живи своей жизнью!» — сказал ему внутренний голос. Но Никита решительно сдвинул брови, словно отгоняя назойливую муху. Нет, забыть, оформить развод, выбросить из памяти — это слишком. Это ведь будет означать навсегда. Нет, пускай хоть слабая ниточка, почти неощутимая связь объединяет их. Лучше уж так.

Он забрался в припаркованную у обочины машину и поехал на «Мосфильм», через два часа был назначен предварительный просмотр его только что смонтированной документалки.

Кинорежиссер Патрик Фьера, узкоплечий человек с лицом постаревшего проказливого сорванца, с обмотанным вокруг шеи ярким шарфом и зажатым в тонких пальцах «Житаном», доверительно говорил Але, склоняясь к ней через столик кафе:

— Александра, мне очень понравилась ваша повесть. Редактор не хотела открывать мне настоящее имя автора, но я упрямился.

— Придется ей попенять, — рассмеялась Аля. — Так легко раскрыла все мои карты. А что, если бы вы были из Комитета госбезопасности?

— О, разве я похож на разведчика? — скорчил забавную мину Патрик, затем интимно наклонился к ее лицу: — Ближе к делу, Александра. Я хотел бы снять фильм по вашей повести. Вы согласились бы вместе со мной поработать над сценарием? — И,

расценив ошеломленное молчание Али как сомнение, Фьера замахал руками: — Конечно, я понимаю... Все будет строго секретно, конфиденциально. Ваше настоящее имя не будет упомянуто.

Аля не могла поверить своим ушам. Признание, казалось, пришло совсем легко, почти не требуя от нее никаких усилий. До сих пор ей представлялось, что все ее писательство — это так, безделки, а настоящая серьезная работа — в редакции. И вдруг возникает этот смешливый режиссер, чье лицо не сходит со страниц светских хроник, и уговаривает ее заняться тем делом, о котором она могла только мечтать.

— Александра, не молчите, — эмоционально всхлипнул Патрик, картинным жестом прижимая к груди ладони. — Скажите, что вы согласны!

— Я согласна, — кивнула Аля и склонилась над чашкой кофе, чтобы не выдать себя довольным блеском глаз.

За толстым запыленным окном начальственного кабинета висел пасмурный летний день. Тусклое подслеповатое солнце в последний раз подмигнуло нависшим над городом серым тучам и скрылось. В приоткрытую форточку тянуло едким дымом от горящих где-то в Московской области торфяников. Белесый смог стелился далеко внизу, над мостовыми, пряча лица случайных прохожих.

Геннадий Борисович суетливо возился с бумагами у одного из книжных шкафов. Ивана Павловича же все не было. Редников нетерпеливо побарабанил пальцами по подоконнику. Что же это в самом деле? Вызывают к начальству, специально оговаривают, что срочно, отрывают от дел, а теперь маринуют в этой пыльной духоте? Зачем? Намеренно на нервы действуют? Казалось бы, знают, с кем дело имеют, давно уже не мальчик, чтобы от ожидания разговора с министерскими в истерику впадать.

Наконец дверь отворилась. Не та, ведущая в коридор, через которую вошел Редников, а маленькая, внутренняя, затерянная между книжными шкафами. В узкий дверной проем протиснулся Иван Павлович, поздоровался с Дмитрием, плюхнулся в кресло, величественным жестом указал на стул для посетителей. Геннадий Борисович расшаркался с коллегой и принял подобострастную стойку возле стола.

Иван Павлович пустился в пространные рассуждения по поводу новой картины Редникова, только что смонтированной в черновом варианте. Сетовал на мрачность, тяжеловесность, на обилие «с позволения сказать, метафор», которые непонятны рядовому зрителю. Дмитрий Владимирович, хмурясь, слушал ораторствующего чиновника. Все это было не то. Он ясно угадывал по багровому лицу Ивана Павловича, что все его разглагольствования только прелюдия к главному, к какой-то основной претензии, которую тот приберегает напоследок. И Редникову оставалось лишь напряженно ждать.

— Вы поймите, Дмитрий Владимирович, это ведь не только наше с Иваном Павловичем мнение, — внезапно, интимно понизив голос, вступил Геннадий Борисович. — Вот ведь и наверху... — Он поднял

кривой указательный палец, вскинув глаза к потолку и придав лицу таинственное выражение, — вот ведь и наверху считают, что переборщили вы... Вот, к примеру, у вас положительный в общем-то герой, солидный, женатый человек, заводит... как бы это сказать...

Он с демонстративной застенчивостью сложил пальцы щепоткой, словно пытаясь поймать в воздухе приличествующее случаю слово.

— Шашни, — громогласно брякнул Иван Павлович.

— Интрижку, — с мягкой укоризной поправил Геннадий Борисович, — интрижку с девушкой намного моложе его. Ведь герой сразу же теряет обаяние! И потом, вы сами посудите, разве это вяжется с образом советского гражданина? В таком случае вы должны были развенчать его, показать нам, какую ошибку он совершил.

Редников кивнул и потер глаза. В голове шумело то ли от разлившейся в воздухе влажной духоты, то ли от утомительного разговора.

— Вы полагаете, все советские граждане спят только с собственными женами? — как можно тверже осведомился он.

От такого нахального вопроса Иван Павлович начал медленно наливать свекольным соком, Геннадий же Борисович по-бабьи всплеснул руками и заголосил:

— Разумеется, и в нашем обществе есть пороки... Которые нужно клеймить, а не поощрять...

Иван Павлович тем временем исчез под столом, вытащил из тумбочки бутылку коньяка, бухнул себе в рюмку янтарной жидкости, опрокинул одним глотком и вспыльчиво отрубил:

— Да что там рассуждать? Вырезать всю эту порнографию к чертовой матери!

Геннадий Борисович снова покосился на него, миролюбиво похлопал по руке:

— Ну, не стоит так резко... Возможно, не вырезать, подсократить, показать полунамеками... И вообще... Пускай ваших героев связывает... ну, скажем, светлая дружба...

— Вы меня извините, — огрызнулся Дмитрий Владимирович, — но я делал кино о нормальных живых людях. И превращать моих героев в добропорядочных импотентов я не стану.

Чиновники переглянулись. Иван Павлович, мрачно сжав мясистые губы, уставился на Редникова взглядом, исполненным сурового

порицания. Геннадий Борисович сокрушенно покачал головой.

– Зря вы так, Дмитрий Владимирович, — захохотал он. — Вы ведь понимаете, что кино в нашей советской стране должно нести прежде всего воспитательную, так сказать, нравственную функцию. А значит, и заниматься киноискусством имеют право только высокоморальные натуры. Что же до вас... Нам ведь известны кое-какие фактики... Мы долго смотрели сквозь пальцы на ваш моральный облик, а можем ведь и по-другому поговорить.

«Вот оно! — оживился Редников. — Вот к чему вели все эти рассусоливания».

Он выпрямился на стуле, вскинул голову, угрожающе прищурившись, дрогнувшим голосом полюбопытствовал:

– Что вы имеете в виду?

– Да что ты церемонии разводишь, Ген? — разгневанно загудел Иван Павлович. — С кем ты тут споры ведешь о нравственности советских граждан? Ты посмотри на него, «нормальные живые люди»... Это нормальные-то люди сыновей по границам отправляют, а сами в Крыму развлекаются... и притом с собственной невесткой... Да еще у всех на виду. Позорище!

– В сложившейся ситуации вам, Дмитрий Владимирович, следует быть осторожнее, лояльнее, — продолжал трещать над ухом Геннадий Борисович.

Иван Павлович подошел к поднявшемуся из-за стола Дмитрию, панибратски хлопнул его по плечу:

– Да вырежет... Все, что надо, вырежет. Куда он денется? Первый раз, что ли?

Дмитрий ощутил, как нервно задрожал локоть его левой руки, он стиснул его ладонью правой. И вдруг нахлынуло то знакомое, но давно забытое чувство — чувство собственной всесильности и правоты. Ты не боишься больше, потому что знаешь — правда на твоей стороне. Ты знаешь, что бояться стыдно, боятся те, кто не прав. А ты прав и, значит, можешь все.

Редников коротко размахнулся и резким мощным ударом загнал кулак в солнечное сплетение Ивану Павловичу. И со странным наслаждением увидел, как скривилась, сморщилась отвратительная багровая рожа, как задрожали толстые губы и недавний вершитель

судеб осел на вытертый малиновый ковер, зажимая руками «раненый» живот. Геннадий Борисович квохтал над ним:

– Ваня! Ваня, ты как?

Теперь Дмитрию казалось, что он видит все происходящее словно в замедленной съемке. Перед глазами замелькали серые «помехи», в ушах снова зашумело.

– А идите вы все на х...й! — не утерпел Редников и, резко развернувшись, вышел из кабинета.

Удивляясь странной слабости в ногах, он дошел по широкому отделанному мрамором коридору до окна, отер рукой выступившую на висках испарину. Что-то теснило грудную клетку, нарастало слева, давило, мешая дышать. Левая рука онемела. Пол зашатался под ногами. Редников попытался ухватиться за подоконник, но уже не смог — осел на пол, со свистом втягивая посиневшими губами воздух.

Жаркое удушливое марево висит над сонным садом. Сухая трава колет босые ступни. Аля мчится, продираясь сквозь сплетающиеся ветки. Ей непременно нужно туда, к неведомой, но очень важной цели. Предчувствие беды предостерегающе колотится в груди.

Ей удастся выбраться из зарослей, выбежать на широкое, растянувшееся до горизонта поле. В тяжелом безветренном воздухе застыли колосья. Ноги наливаются тяжестью, и Аля, делая над собой невероятное усилие, движется вперед, страшась того, что может увидеть. Перед ней блестит лента реки, и девушка видит там, прямо над водой, смутный силуэт. Она пытается окликнуть видение, но голос не слушается ее, из груди вырывается лишь сдавленный стон.

Но человек, кажется, все же расслышал, обернулся. И Аля узнает это лицо — знакомое, родное. Высокие, резко очерченные скулы, черные насмешливые глаза, словно посеребренные волосы. Но почему оно такое бледное, восковое? Откуда эта испарина на впавших висках?

— Митя! — хрипло кричит она. — Митя!

Человек глядит поверх ее головы, не замечая, отворачивается, шагает вперед. И видение тает, растворяется в плотной, окутывающей воду дымке.

Аля распахнула глаза, перевела дыхание, взглядываясь в черноту комнаты. Она поднялась на постели, с удивлением обнаружила, что спит одетая. Рядом на подушке сладко посапывала дочь. С Алиных

колен сползла на кровать детская книжка, и она поняла, что, должно быть, уснула, читая девочке сказку. Аля склонилась над ребенком, поцеловала горячую, покрасневшую во сне щеку. Дочка легко улыbnулась, не открывая глаз.

В передней тренькнул дверной звонок, и Аля сообразила, что, наверное, он звонит уже не в первый раз, этот звук и разбудил ее. Она поспешно спрыгнула с постели, пригладив волосы, прошла в прихожую, распахнула дверь. На пороге стоял улыбающийся Фьера. Он церемонно раскланялся с ней, потряс пухлой папкой.

– Наш сценарий близится к концу, Александра. Я принес вам кое-какие новые замечания.

Аля рассеянно приподняла бровь, все еще не в силах выбраться из жаркого мутного кошмара.

– Конечно, Патрик, проходите. Сейчас приступим, я только кофе сварю.

Работа над сценарием длилась уже несколько месяцев. Але доставляло удовольствие выдумывать вместе с Фьера новые сюжетные повороты, наполнять персонажей своими собственными переживаниями, в которых страшно признаться даже самой себе. Фьера убеждал ее, что фильм о трудной судьбе Лени Пожарского выйдет отменным.

Аля приготовила кофе, разлила по крохотным чашкам. Странно, но тревога все еще не отпускала ее. Сердце замирало и вздрагивало, плохо слушались ледяные пальцы.

Она вошла в комнату с подносом, расставила чашки на низком журнальном столике. Патрик уже разложил листки на диване.

– Александра, давайте посмотрим... Вот тут, в пятнадцатой сцене, мне кажется, нужно дожать конфликт.

Аля взяла из его унизанных перстнями пальцев страничку, проглядела напечатанные на машинке строчки, почти не понимая, что в них написано.

– Вам сегодня нехорошо? — участливо осведомился Патрик. — Вы какая-то рассеянная...

Аля неожиданно резко встала, произнесла вмиг осевшим голосом:

– Патрик, вы меня извините, мне нужно позвонить. Я вернусь через минуту.

Фьера замахал руками — мол, конечно-конечно, какие могут быть вопросы. Аля заперлась в другой комнате, сняла телефонную трубку, вздрогнула от прикосновения прохладного пластика к разгоряченному лицу. Пальцы сами набрали знакомый номер.

«Только спрошу, только узнаю, что все хорошо, — клятвенно обещала сама себе Аля, слушая дребезжавшие в трубке гудки. — Узнаю и дам отбой. С этим покончено навсегда, я давно решила. У меня другая жизнь, и я... счастлива. И никому не позволю в этом усомниться».

— Да! — ответила трубка голосом Никиты. Необычным голосом, каким-то притихшим, подавленным.

— Никита, — начала она. — Это Аля. Извини, что так поздно...

В трубке помолчали, затем Никита произнес неожиданно ядовито:

— А-а-а... Значит, ты уже знаешь...

Пальцы свело судорогой. Аля отчаянно прошептала:

— Что знаю?

— Ну про отца... — протянул Никита где-то далеко-далеко. — Что у него был инфаркт...

Аля медленно опустилась на стул, крепче прижала трубку к уху. Там, в дальней комнате, Фьера включил радио, из приемника потекла какая-то раздражающая тревожная мелодия. Аля поняла, что знает мотив, только слова были незнакомые, французские.

«Нет, тут должно быть что-то другое... Я сейчас вспомню...» — рассеянно думала она.

Никита, кажется, испугался затянувшегося молчания и тут же бросился утешать ее:

— Алька, ты только не дергайся. Правда, врачи говорят, что состояние довольно тяжелое, но я думаю...

— Никита, я... Ты извини, я перезвоню.

Аля вошла в кабинет, посмотрела на закопавшегося в ворохе бумаг Фьера и произнесла решительно:

— Патрик, вы меня извините, но работу над сценарием придется отложить. Мне срочно нужно возвращаться в Советский Союз.

— Отложить? — Брови Патрика взлетели над дугами очков. — Ну что ж... Я думаю, можно... Дней на пять-десять... Вы когда сможете вернуться?

— Нет, Патрик, вы не поняли... — невозмутимо сказала Аля. — Я, возможно, уеду надолго. На несколько месяцев.

— Да вы что? — вскинулся Фьера. — Вы сумасшедшая? А как же наша договоренность? Как же картина? Ведь у меня установлены сроки съемки, подписаны контракты с исполнителями главных ролей...

Он вскочил на ноги, вытянулся перед Алей во весь свой небольшой рост. Лицо его сморщилось, как у обиженного ребенка.

— Мне очень жаль, Патрик, — уткнулась глазами в пол Аля. — Но ничего не поделаешь.

— Ах, мне говорили, что нельзя связываться с русскими, — взбеленился Патрик. — Ведь я поверил вам на слово. Мы же не могли заключить официальный договор. И теперь что же...

Но Аля уже не обращала на бесновавшегося режиссера никакого внимания.

«Сейчас проверить документы, чтобы все было в порядке. Завтра к главному редактору, получить отпуск, потом в посольство».

Она промчалась по комнате, достала из ящика стола паспорт, проверила, на месте ли свидетельство о рождении дочери. Фьера обескураженно наблюдал за ней, затем истерично взвизгнул:

— Так знайте, что я всем расскажу о вашем предательстве. И путь во французское кино будет для вас закрыт. Навсегда! — Он потряс перед ее носом острым наманикюренным пальцем. — Мои слова имеют кое-какой вес, вы в этом убедитесь.

Патрик метнулся в прихожую и гневно хлопнул дверью. Аля прошла за ним, повернула дверной замок. Все его слова казались ей смешными и бессмысленными. Важно сейчас может быть только одно — успеть. Увидеться с ним, пусть и в последний раз, прижаться губами к его усталым глазам. Успеть, успеть обязательно.

Виталий Анатольевич поднял голову и оглядел Алю своими маленькими мышинными глазками. Он не спешил с приветствием, рассматривая ее со спокойной неторопливостью, и Але в который раз стало неуютно под его неприятным липким каким-то взглядом.

– Добрый день! — чуть громче повторила она.

Он еще немного помедлил и протянул высоким бесцветным голосом:

– А-а-а... Александра Юрьевна?

«Черт его знает, может, и правда не узнал сразу, — подумала Аля. — А может, у него тактика такая — уставится своими тусклыми глазенками и молчит, чтобы пикнуть боялись».

– Да, Виталий Анатольевич. — Она шагнула к столу. — У меня к вам дело.

– Разумеется, дело. — Тонкие губы растянулись в ехидной улыбке. — Просто так, для удовольствия, вы ведь ко мне не заходите.

Аля смутилась, опустила глаза и, откашлявшись, продолжила:

– Виталий Анатольевич, мне нужно вернуться в Советский Союз. Возможно, надолго, на несколько месяцев. В редакции я уже договорилась, они согласны предоставить мне отпуск за свой счет. Осталось только оформить документы на выезд...

Мужчина молчал, как будто внимательно изучая разложенные на столе бумаги. Аля тихо окликнула:

– Виталий Анатольевич?

Тот вздернул острый подбородок, и Аля поразились, каким цепким, раздевающим, оказывается, может быть этот вечно сонный взгляд.

– Зачем вам в СССР? — задушевно поинтересовался он.

– Мой... родственник тяжело болен, — потупив глаза, объяснила Аля.

– Родственник? Это какой же родственник? Что-то я не припомню в вашей анкете информации о близких родственниках... — выразительно пожал плечами ее собеседник.

— Мой... свекор. Дмитрий Владимирович Редников, — с трудом выговорила Аля.

Виталий Анатольевич привычным жестом стряхнул с плеча пылинки:

— Вы ведь утверждали, что фактически состоите в разводе, Александра Юрьевна. Мужа вашего мы уже три года тут не видели, у дочери в свидетельстве о рождении вообще прочерк значится...

Аля чувствовала, как в груди у нее закипает гнев. Весь вчерашний день ей пришлось обивать пороги редакции, договариваясь о бессрочном отпуске, потом звонила в аэропорт, бронировала билеты на ближайший рейс для себя и для дочки. И все это время держала себя железной хваткой, не разрешала страху за Митю проникнуть внутрь, парализовать тело. И вот теперь, когда цель совсем близка, возникает на пути этот пыльный сморчок и не хочет подписать необходимые бумаги. Еще и издевается, тянет время. Да кто он такой, в конце концов. Всего лишь руководитель группы, в составе которой ее когда-то отправили во Францию.

Аля, вскочив со стула, произнесла срывающимся голосом:

— Я не совсем понимаю, какое это имеет значение. Я говорю вам, что заболел мой близкий человек, вы же... — Нервы ее были на пределе, слезы уже дрожали где-то в горле.

— Вот именно, вы не понимаете, — перебил ее Виталий Анатольевич. — Вы не понимаете, кажется, какой страны вы подданная. Летаете туда-сюда, как у себя дома. Раньше у вас важные покровители находились, помогали вам с бумагами, а теперь — все... Так что уж извольте подчиняться установленным законам.

На виске, у глаза, забилась голубая жилка, Аля закусила губу, рванула со стола стопку документов.

— В таком случае я обращусь напрямую к вашему начальству, — рявкнула она. — Может быть, им удастся объяснить, что мне необходимо, просто необходимо...

— Сядь, — гаркнул вдруг руководитель группы. — Какое еще начальство? — едко рассмеялся он, нависая над ней. Его серое бесцветное лицо было совсем близко, Аля могла разглядеть каждую пору на чуть приплюснутом носу. — Дура, — презрительно констатировал он. — Совсем не от мира сего.

Он сунул Але под нос красное удостоверение. Аля разглядела выбитый золотом на обложке герб СССР и три буквы — «КГБ». Ноги неожиданно стали ватными, в ушах зазвенело.

«Пропало, все пропало, — с ужасом думала Аля. — По моей вине... Я не смогу увидеть Митю, не смогу...»

— Ты что же думала, нам про тебя ничего не известно? — продолжал он, расхаживая по кабинету. — Про твою писанину в журналах, про этого педераста Фьера?

Аля съежилась, ее плечи горестно опустились, она спрятала лицо в ладонях.

— Виталий Анатольевич, я вас очень прошу... — ослабевшим голосом взмолилась она. — Вы не представляете себе, как это для меня важно...

— Почему же, отлично представляю, — хохотнул тот. — Только с Редниковым-то ведь теперь не покувыркаешься в Ливадии. Ты думаешь, если мы до сих пор гражданства тебя не лишили и не вытурили в двадцать четыре часа, так можно совсем совесть потерять?

— Почему же вы только сейчас вспомнили обо мне? — сдавленно спросила Аля.

Виталий Анатольевич подошел ближе, ухватил ее за подбородок и заставил поднять голову. Влажные пальцы прикоснулись к коже, и Аля встретила с хищным взглядом припухших глаз.

— Да вот все надеялись, что догадаешься решить свои проблемы полюбовно, — со значением произнес он и провел скользкой ладонью по ее лицу, от щеки к виску.

К горлу подступила дурнота, липкая паника сковала тело. Аля, словно загипнотизированная его взглядом, поднялась со стула, попятившись, ударила плечом об угол шкафа. Виталий Анатольевич придвинулся к ней, просунул руку под пиджак. Совсем близко оказалось его лицо — редкие бесцветные волоски на висках, подрагивающие от нетерпения вывернутые ноздри, красноватые пальцы с плоскими, словно раздавленными ногтями. Але хотелось размахнуться и хлестнуть его по отвратительным мышинным глазкам, по этим стиснутым губам, без конца молотить по этой лоснящейся потной роже, но она лишь судорожно сглотнула.

«Полюбовно... — стучало в голове. — Полюбовно... Значит, может быть, еще есть шанс? Может быть, если я сделаю то, что он

хочет, мне дадут возможность выехать... И тогда я увижу Митю. Пусть даже в последний раз...»

— Ну вот, кажется, в нас начинает наконец просыпаться гражданская сознательность, — ощерился Виталий Анатольевич.

Он расстегнул пуговицы ее блузки, обнажил грудь и грубо стиснул корявыми пальцами. Все Алино существо противилось ему, дрожь отвращения пробежала по спине, руки сжимались в кулаки, приступы боли терзали тело.

Виталий Анатольевич неожиданно разжал руки и резко толкнул ее вперед. Аля отлетела к центру комнаты, упала грудью на письменный стол. Ее мучитель уже был сзади и неловко, торопливо дергал вверх узкую юбку. Справившись с одеждой, он с садистским удовольствием схватил Алю за волосы и намотал их на руку, заставляя откинуть голову.

— Вот молодец, — просипел он ей в ухо. — Скоро совсем умной станешь.

И Аля сдалась, усилием воли подавив вскипающую в ней волну омерзения, уткнулась лбом в ладони, стараясь скрыть пылающее лицо. Все было теперь безразлично, лишь бы только получить нужные бумаги. Лишь бы только добраться до Москвы.

Когда Виталий Анатольевич наконец отпустил ее и отошел, неторопливо застегивая брюки, Аля несколько минут не могла собраться с силами, чтобы выпрямиться и снова взглянуть ему в лицо. В груди теснилась тошнотворная помесь отвращения, стыда и страха.

Аля одернула юбку, привела в порядок блузку, опустилась на колени, поднимая с пола пиджак. Виталий Анатольевич уже вернулся на свое рабочее место, за стол, снова отряхнул плечи пиджака и теперь с гадливой усмешкой наблюдал за своей жертвой.

— Ну где там твои бумажки? Давай, что ли, подпишу. Заработала! — осклабился он.

Аля, стараясь не встречаться с ним взглядом, протянула ему папку с документами. Тот просмотрел бумаги, размашисто подписался в нескольких местах и, уже протягивая папку Але, произнес:

— Только девчонку тут придется оставить.

— Как? — ахнула Аля. — Как же я ее оставлю?

— А вот так, — развел он руками. — Чтобы поумнее была впредь. Да и нам спокойнее, будем уверены, что ничего не выкинешь до

возвращения.

— Но я не могу... — растерянно сказала Аля. — Я никогда... Она же совсем маленькая...

— Нянька есть у тебя, — досадливо поморщился Виталий Анатольевич. — Вот с нянькой пусть и остается. Ничего, целей будет. А ты наведишь своего, вернешься, и мы поговорим еще. Не забудь, у меня на тебя мно-о-ого материала, — заверил он, похлопав ладонью по ящичку письменного стола.

И, уже не глядя на все еще обращенное к нему искажившееся лицо Али, махнул рукой:

— Давай-давай, иди вещички собирать. Аудиенция окончена.

Аля медленно повернула ключ в замке. Все части ее тела, все кости и мышцы болели, как при высокой температуре. Надсадно стучало в висках. Аля шагнула в темную прихожую и остановилась перед зеркалом. Из черноты на нее глянула бледная испуганная женщина с остановившимися, словно остекленелыми глазами. На шее чернел кровоподтек, слева, у губ, присохла размазанная помада.

— Мама! — крикнула в детской дочь.

Аля услышала топот неловких маленьких ножек по полу, ласковое ворчание няни. Она быстро стерла с лица помаду, запахнула воротник блузки и, улыбнувшись через силу, обернулась к дочери. Няня щелкнула выключателем.

— Мадам сегодня поздно? — по-французски спросила Луиза, пожилая женщина с коротким ежиком седых волос.

— Да, — кивнула Аля. — Было много дел.

Малышка теребила ее, тянула в детскую, и мало-помалу Аля взяла себя в руки, сбросив охватившее ее оцепенение. Останавливаться было нельзя. Она нужна дочери, она там, в Москве... Может быть, нужна...

— Луиза, — обратилась Аля к няне. — Мне понадобится съездить в СССР. Возможно, надолго. Вы останетесь с девочкой? Я хорошо заплачу.

— Конечно, — улыбаясь, кивнула няня. — Неужели я не позабочусь о нашем маленьком ангеле.

Она ласково потрепала малышку по пухлой щеке. Аля взяла дочь на руки, взъерошила темные кудри, поцеловала в висок. Девочка залопотала что-то нежное и непонятное. И только сейчас Аля

окончательно осознала, что ей придется расстаться с дочерью надолго, может быть, на несколько месяцев.

— Вы не волнуйтесь, — хлопнула Алю по руке Луиза. — Она маленькая еще, по маме скучать не будет.

— Не будет, — вздохнула Аля, глядя на копошившуюся среди игрушек дочь, и добавила шепотом по-русски: — А папу она не знает...

Дмитрий Владимирович Редников сидел в кресле на террасе, лениво перелистывая свежий литературный журнал. Из дома выглянула Леночка — новая Никитина подруга, симпатичная девочка с короткой стрижкой.

— Дмитрий Владимирович, Глаша спрашивает, вам чаю налить? — вежливо спросила она.

— Лучше кофе, — буркнул Редников.

— Кофе... — растерянно протянула девочка. — Вы знаете, кофе, кажется, нет. Забыли купить.

— Ну тогда чай, — согласился Дмитрий.

Леночка скрылась в доме.

«Кофе забыли купить... — усмехнулся он. — Ясно. Продолжают кампанию по спасению утопающего. То-то я видел, что Никита с Глашей шептались по углам, а потом из дома все спиртное исчезло. Теперь, значит, за кофе взялись...»

Никита волнуется за него, ясно. Он и сам тогда, в коридоре, увидев, как на него надвигается мраморный пол, испытал сильный испуг. Может быть, самый сильный за всю жизнь.

До тех пор Редникову казалось, что нет на свете ничего тяжелее того первобытного ужаса, который ощутил он, ребенком, в тот злополучный новогодний вечер. Та ночь навсегда изменила его жизнь, отважного задиристого мальчишку превратила в вечно настороженного затаившегося волчонка. Со временем он научился скрывать этот извечный страх, маскировать его напускной бесшабашностью, демонстрировать непоколебимость своих решений. Однако в глубине души всю жизнь продолжал испуганно оглядываться по сторонам, подгонять все свои поступки под общепринятые условности, избегать острых конфликтов, сглаживать, смягчать. Иногда ему казалось, что он давно уже перестал бояться чего-то конкретного, скорее внутри остался страх перед самим страхом.

Но тогда, в коридоре, испуг был другим. Впервые он опасался не расплаты, которая последует за совершенным поступком. Впервые он боялся, что так и не успеет этот поступок совершить.

Потом были дни в больнице, длинные, прохладные, томительные. Визиты врачей, встревоженное лицо сына. После выписки его перевезли на дачу. И сразу же началось это шушуканье по углам, ласковые снисходительные улыбки, словно адресованные больному ребенку. Все это выводило Редникова из себя.

Вошла Леночка, поставила перед ним стакан с чуть желтоватым слабеньким чаем. Следом за ней появился Никита.

— Пап, пойдем лучше в комнату, — с деланным безразличием предложил сын. — Здесь дует из окна сильно. Тебе доктор велел побереечь себя. Я там шахматы приготовил, сыграем.

И Редников, поднявшись с кресла, проследовал за Никитой в дом.

— Шах твоему достопочтенному королю, — весело сказал над ухом Никита.

Дмитрий машинально передвинул по полированной доске массивную шахматную фигуру.

Никита, прикусив губу, напряженно смотрел на доску, затем ловко передвинул фигуру и с удивленной радостью произнес:

— Мат!

Он обнял примостившуюся на подлокотнике кресла Лену, проговорил радостно:

— Ленка, представляешь? Впервые у бати выиграл!

Дмитрий откинулся на спинку стула:

— Выучил тебя на свою голову. Ну что ж, пора мне и честь знать. Молодым везде у нас дорога.

— Да уж какая теперь дорога, — с неожиданной серьезностью отозвался Никита.

— Ты это о чем? — вскинул на него глаза Редников.

— Да так, ничего. — Никита махнул рукой, поднялся на ноги, отвернулся.

— Нет уж, ты договаривай, — нажал Редников.

«Договаривай, — размышлял Никита, шагая по комнате. — Договаривай, как же... А потом скажут, что ты своими речами прикончил любимого папашу. Черт знает, что с ним сделалось на старости лет. Вся студия гудит. Надо же, столько лет молчал, а теперь на тебе, засветил начальнику прямо в брюхо. И главное, в какой момент! Именно тогда, когда вопрос о моем первом полном метре решается. И ведь предупреждал его, просил... Нет! Теперь в нем

принципиальность выиграла не ко времени. Ради себя, любимого, можно было и промолчать, а как вопрос дорогого сына коснулся, тут нам прогибаться противно. Что, собственно, такого сказали ему эти чиновники? На студии болтали, что-то про моральный облик, про какую-то бабу... Что за баба? С актрисами он всю жизнь крутил, еще когда мать жива была. Только осторожничал, лишь бы все было шито-крыто... Да и не стал бы он из-за случайной бабы на рожон лезть...»

Никита неожиданно вспомнил, как тогда, вернувшись из Казахстана, ближайшим рейсом вылетел в Крым. Отец, с которым накануне встретились в Москве, коротко сказал ему, что пересекся с Алей в Крыму, что она ждет его, Никиту, на даче в Ливадии. Никита тогда еще удивился, что отец вышел из самолета на заплетающихся ногах и, едва увидев сына, расплылся в непривычной умильной улыбке. Никита до сих пор никогда не видел отца таким пьяным, но списал все на переутомление. Не до того ему тогда было, все не мог поверить, что Алька действительно его ждет. И правильно, что не мог. Конечно, она его не ждала, не было ее ни на даче, ни в санатории. И только через месяц в Москве, на «Мосфильме», удалось ему узнать, что она вернулась во Францию. Они с отцом не обсуждали его беглую жену, говорить об этом в доме было не принято. И только теперь, впервые за все эти годы, Никита вдруг задумался: что же на самом деле произошло там, в Крыму, где отец «пересекся» с Алей? Почему она уехала так поспешно, не попрощавшись? И за какие такие обвинения отец вмазал Ивану Павловичу?

Никита обернулся к все еще ожидавшему ответа Редникову-старшему и, не осознавая причины своей закипающей злости, осклабился в шутовской улыбке.

— Да я про выступление твое последнее, — с издевкой в голосе продолжил он. — Чего это ты с мельницами воевать вздумал? На старости лет, — все так же улыбаясь, добавил он.

Отец вскинул бровь, смерил Никиту взглядом.

— Ты, сынок, взрослеешь, я смотрю, мудрееешь, — протянул он, усмехаясь. — Ведь правда удобно, когда вокруг одни слабаки и каждый больше всего трясется за свою налаженную жизнь...

— Как, батя? — с притворным ужасом ахнул Никита. — А разве ты больше не сторонник — как это ты любил говорить — разумных компромиссов?

Редников видел, что сын хочет затеять ссору, но недоумевал, что это на него нашло.

– Знаешь, Никит, у меня теперь слишком мало времени, чтобы стараться всем угодить.

Никита, едва сдерживая ярость, картинно расхохотался ему в лицо:

– Я понимаю... Тебе взбрело в голову под занавес показать всем кукиш. А ни о ком, кроме себя, ты думать не привык...

Подошла Лена, обняла его за плечи, зашептала в ухо:

– Никит, что ты завелся? Отец нездоров еще...

Но Никита уже не мог остановиться:

– Тебе терять-то уже нечего, заслуженный, народный, все дела. Хоть бы обо мне подумал. Мне ведь запускаться через неделю, а теперь, за твои выкрутасы, закроют картину — и привет! Или ты считаешь, что сын за отца не в ответе?

Он увидел, как сжались, наливаясь тяжестью, кулаки отца, как тот, свирепея, шагнул к нему.

– Мне иногда кажется, что я немало подлостей в жизни сделал потому, что думал о тебе, — глухо выговорил Редников.

Никита же, делано смеясь, покачал головой:

– Не обо мне, а о себе... О себе... папа!

– Ой, там такси приехало! — выкрикнула вдруг Лена, выглядывая в окно.

Редников быстро отступил от сына, бросил взгляд во двор. Кто-то открыл входную дверь, надулась от сквозняка занавеска на окне, простучали каблуки по веранде. И Никита неожиданно почувствовал, что вот он — финал всей этой бесконечной пьесы. Удивленная Ленка у окна, напряженно застывшая фигура отца, сам он, еще не успевший стереть с лица глумливую ухмылку паяца, — все эта сцена показалась ему застывшим кадром, последним мгновением, запечатленным на пленке. Никита прекрасно знал, кто переступит порог их дома.

Дверь отворилась, и в комнату вошла Аля. Солнце словно специально выглянуло в этот момент из-за густого облака, чтобы осветить ее тонкую легкую фигуру, обтянутую белым платьем из джерси, зайчиком отразиться в маленьком золотом медальоне на груди, осветить ее глаза, остановившиеся на Дмитриии и потемневшие от волнения. И в эту минуту Никита понял все. Он понял, что произошло

тогда, в Крыму, понял, отчего отец, не сдержавшись, врезал чиновнику. Он понял также, что ему так и не удалось отвоевать ее, что она любила его отца, любила всю жизнь и каждую минуту. Понял и то, что она страдала, может быть, больше, чем он сам. И что он не в силах больше стоять у них на дороге, что должен отпустить и... простить.

— Здравствуйтесь, — просто произнесла Аля.

Никита нацепил знакомую маску лихого, бесшабашного, своего в доску парня. Он шагнул к ней, склонился в церемонно-издевательском поклоне:

— О, наши люди из Парижа! Как там капиталистический Запад? Загнивает?

— Наоборот, цветет и пахнет, — отшутилась Аля легко, как в былые времена.

Он видел, как направился к Але отец, как остановился на минуту в нерешительности, а затем приблизился и обнял ее, не таясь, словно вычеркнув мысль о том, что в комнате находится, в конце концов, законный муж этой женщины, как устало Аля ткнулась ему в плечо.

— Ты приехала... Спасибо, — донесся до него голос отца.

— Приехала, — выдохнула Аля.

А Никита уже тащил за руку Ленку, провозглашая:

— А это вот, позволь представить, моя гражданская жена Елена Прекрасная! Совсем новая, прошу заметить, жена. А это Аля, жена за номером раз.

Ленка с недоумением покосилась на него, но ничего не сказала, лишь сдержанно поздоровалась. И Никита почему-то заметил, что выражение лица у нее простое и глуповатое, и Ленкина ладонь показалась ему грубой, широкой, когда Аля протянула ей руку.

...Вечер тянулся бесконечно. Глаша, конечно, увидев Алю, разохалась, бросилась обнимать «милую девочку». Не удалось отвертеться и от ужина. Что уж говорить — благодатное семейное застолье на лоне природы. Никита понимал, что нужно уезжать, что ждать больше нечего, что он мешаает этим двоим. Но ничего не мог с собой поделать, горбился за столом, не обращая внимания на легкие толчки Ленкиного локтя. Казалось, вот еще последний взгляд на нее, последнее слово... А вдруг это что-то изменит, вдруг?

И лишь когда за окном совсем стемнело, Ленка, измаявшись, открыто произнесла:

— Дмитрий Владимирович, мы вас совсем заболтали. А вам отдохнуть, наверное, надо. Никит, поедем?

И Никита поднялся из-за стола, кивнул — поедем, да. И обратился к Але:

— Мы на машине. Подвезти тебя? Ты где остановилась?

— Пока нигде, я на даче останусь, если Дмитрий Владимирович не возражает.

Ленка, подавив вздох облегчения, воспряла духом:

— Ну в самом деле, что ты, Никита... Где сейчас в Москве свободный номер в гостинице найдешь? Можно было бы к нам, да квартира... э-э-э... тесновата. А тут столько свободных комнат... И воздух опять же...

— Ну что ж... — проямлил Никита, направляясь к двери.

И, поравнявшись с журнальным столиком, на котором все еще расставлены были шахматные фигуры, щелкнул ногтем по черной лакированной пешке. Фигурка завалилась набок и покатила по доске.

— Я ошибся, ты опять выиграл, папа, — констатировал Никита. И, дернув за руку Лену, вдруг с деланой серьезностью осведомился: — Ленка, а тебе, случайно, мой отец не нравится?

Дмитрий Владимирович, не глядя на него, потянулся за папиросой. Аля, вспыхнув, отвернулась к окну. Лена захлопала глазами:

— Что?

— Что что? — Никита чувствовал, что еще немного, и его голос сорвется. — Батя мой нравится тебе, а?

— Ну как... — растерялась Ленка. — Заслуженный человек, талантливый, известный... К тому же, ты — сын Дмитрия Владимировича...

— Эх, Ленка, не разбираешься ты в мужиках, — хохотнул Никита. — Ладно, пошли.

Ухватив девушку за запястье, Никита потащил ее за собой и выскочил из дома. Он ни разу не посмотрел на янтарно-желтые прямоугольники окон, светившихся в черноте ночного сада. Ни разу не обернулся, чтобы не видеть, как, едва закрылась за ними дверь, отец распахнул руки и Аля приникла к его груди, сглатывая подступившие к горлу слезы.

Ясное июльское солнце плавилось над головой. Тяжелые белые облака застыли на фаянсово-синем небе. Слева чернел густой лес. Впереди раскинулось широкое, золотом отливающее поле. Синие звездочки васильков выглядывали между тяжелых, клонившихся к земле колосьев. За полем дрожал в густом жарком воздухе огонек, отразившийся от маковки сельской церкви. За церковью угадывался в душном мареве обрывистый берег реки. В церкви ударил колокол, и густой тягучий звон поплыл над полем, мерно покачиваясь в жарком воздухе.

Митя шел впереди, держа в одной руке Алины босоножки. Она отставала — то отойдет к опушке леса, чтобы сорвать розовую дикую гвоздику, то склонится среди колосьев за васильком. Митя остановился, поджидая ее, запрокинул голову, залюбовался куполом неба. Аля тихо рассмеялась позади. Он оглянулся вопросительно и увидел, что она приставила к глазу ладонь, сложенную трубочкой.

— Ты что? — улыбнулся Митя.

— Могу поспорить, ты сейчас думаешь о том, с какого ракурса лучше снимать это поле, небо. Как лучше расположить в кадре берег реки, купол церкви и, — Аля приняла шутливо-кокетливую позу, — белокурую лесную нимфу с васильками.

Митя грозно нахмурил брови, бросился на нее с шутливым гневом, Аля ловко увернулась, залиvisto хохоча. Митя сильной рукой обхватил ее за талию, прижал к себе, и дальше они пошли вместе, рядом.

— На самом деле ты не права, — возразил Редников. — Я об этом не думал. Кажется, впервые в жизни... ну их к чертям, все эти кадры, панорамы, режимы...

Аля краем глаза наблюдала за ним, поражаясь перемене, произошедшей в Мите. Трудно было поверить в эти его слова теперь, после стольких лет. Трудно и страшно.

— То есть я зря мчалась сюда из Франции. На главную роль ты меня не возьмешь? — попыталась она за шуткой спрятать свое недоверие.

– Ты и так моя самая любимая героиня! И по метражу гораздо дольше, чем на два часа, — с неожиданной серьезностью ответил Митя.

Он развернул ее к себе, сгреб в охапку, шепча куда-то в ее распущенные волосы:

– К черту... к черту... Вот есть ты и есть я. И больше ничего не нужно...

Митя оторвал ее от земли и бережно опустил на стог скошенной травы у лесной опушки. Алины волосы смешались с сухой травой, глаза ее распахнулись навстречу ему, губы чуть приоткрылись, улыбаясь, и она протянула к нему руки. Митя чувствовал, как голова его начинает кружиться, как все его тело словно окутывает шепот ветра, вязкое, пахнущее солнцем и скошенной травой марево. И вдруг спросил, словно вспомнив что-то, давно не дававшее покоя:

– Я все думал... Почему ты сказала «вечность»... Тогда, в лодке?

Он увидел, как дрогнули Алины зрачки, как прикрыла она на мгновение глаза, прошептал:

– Любовь и есть вечность. Это наш человеческий способ стать бессмертными... Понимаешь?

– И в тот день нам это удалось? Стать бессмертными? — настаивал он, дотрагиваясь губами до ее шеи.

– Да, — кивнула Аля. — Просто ты об этом еще не знаешь...

Митя хотел еще что-то спросить, но ее руки уже скользнули по спине вдоль позвоночника, губы дотронулись до темной впадины под ключицей, и он забыл обо всем. Только необъяснимое слово «вечность» осталось дрожать в теплом воздухе вместе с отзвуками колокольного звона.

...Они просыпались вместе в обшитой деревом спальне, гуляли по умытым росой полям, набрасывались на приготовленный Глашей обед. По вечерам Аля спускалась вместе с ним в овраг кормить деревенских собак. Она садилась на корточки, протягивала руку, гладила по бархатистой холке одного из псов. И Митя вполголоса рассказывал ей о Тиме, верном друге своего детства.

– Давай заведем собаку, — оглядывалась на него Аля.

– Давай, — легко соглашался он. — Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить.

Потом были долгие вечера на веранде. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо над лесом багряными полосами. Митя садился в кресло, Аля забиралась к нему на колени, затихала. И он слышал, как бьется совсем рядом под тонким летним платьем ее сердце.

Никто не беспокоил их. Никита с того вечера так и не появлялся, но Редников узнал по своим каналам, что сыну разрешили запускаться с картиной. Его новоиспеченная гражданская жена регулярно звонила, справлялась о здоровье. Но других вопросов не задавала. Глаша приняла их воссоединение с Алей на удивление спокойно. И Редников понял по ее мудрым усталым глазам, что она давно все знала про них, давно догадалась и теперь лишь радовалась тому, что все наконец-то устроилось и хозяин счастлив. Еще дважды раздавались звонки из Госкино, предлагали Дмитрию Владимировичу место преподавателя на Высших режиссерских курсах. Вероятно, это нужно было расценивать как высочайшую милость, на которую ему не приходилось рассчитывать после его мосфильмовского демарша. Редников от места отказался.

— Я никого и ничему не могу научить, мне самому еще, может быть, многому надо учиться. Что-что, не поняли? Да неважно, не берите в голову. Всего доброго.

Больше его не тревожили.

Редников понимал, что когда-нибудь нужно будет встретиться с сыном, наладить какие-то новые, совсем иные отношения. Нужно будет что-то решать с работой. Когда-нибудь закончится Алин отпуск, и придется ей поехать в Париж. Пускай даже на несколько недель, чтобы уволиться из газеты и собрать необходимые для возвращения в Россию документы, но придется. Только все это будет потом, не сейчас. Единственное, что беспокоило его иногда, это изредка просыпавшаяся странная грусть Али. Глаза ее тогда делались далекими и печальными, губы сжимались. Она будто вспоминала что-то или кого-то, становилась на время рассеянной и далекой.

— Что ты? — подбадривал он ее. — Что тебя тревожит, расскажи.

Разгадать эту загадку ему удалось почти случайно.

Близилась осень. Налились красным ягоды рябины во дворе, и трава по утрам покрывалась белесым налетом инея. Деревенские мужики по просьбе Редникова забили дровами сарай во дворе, но Глаша каждое утро ворчала, что вот, мол, скоро уж печь топить, а

наколоть их некому. И в один из дней Дмитрий отправился на задний двор нарубить дров для преданной домработницы.

Работа давалась ему легко, приносила удовольствие. Хорошо наточенный топор мягко рассекал чурбаки на части. Митя сбросил рубашку, прохладный воздух освежил разгоряченное тело. Мышцы приятно ныли.

Из кухонного окна выглянула Аля, улыбнулась ему, махнула рукой. Редников вспомнил, что Аля обещала сегодня собственноручно испечь какой-то свой знаменитый пирог.

Он закончил работу, накинул на плечи рубашку и прошел в дом. Наручные часы, которые он снял перед рубкой дров, лежали в хрустальной пепельнице на секретере в гостиной. Редников потянулся за ними и заметил рядом два Алиных тонких золотых кольца и овальный медальон. Наверное, сняла украшения, отправляясь замешивать тесто. Он машинально взял в руки легкий золотой медальон, случайно нажал пальцем на почти незаметный выступ на ободке. Овал, щелкнув, раскрылся, и Дмитрий увидел выбитые на внутренней поверхности цифры «10.04.1977». На ладонь ему выпала прядь тонких, легких и мягких как пух темных волос.

«Что это? — не понял Редников. — Волосы шелковые, как будто детские. И дата... — Рука его дрогнула, под левую лопатку словно вонзилась холодная острая спица. — Апрель 77-го... Это, значит, в то лето в Крыму... Почему же она не сообщила, не позвонила тогда? Почему молчит сейчас? А ты хотел знать об этом? — резко оборвал он самого себя. — Ты заслужил, чтобы она тебе сказала?»

— Аля, подойди сюда! — крикнул он.

Аля появилась из кухни, держа на весу испачканные мукой руки, застыла на пороге, глядя на медальон в Митиной руке.

— Что это? — спросил Митя.

Она немного помедлила с ответом, опустила глаза, подошла ближе.

— Наша с тобой дверь в вечность.

Он шагнул к Але, встряхнул ее за плечи:

— Хватит этих загадок. У тебя что... есть ребенок? От меня?

Аля чуть отстранилась, словно давая ему понять, что вот так, нахрапом, он ничего не добьется, словно оберегая ту тайную часть своей жизни, в которую до сих пор не было входа ни для кого.

— Да... Дочь. Ей полтора года. Она осталась в Париже с няней.

Редников тяжело опустился на диван, привычным жестом вытащил папиросу, нервно зачиркал спичкой.

«Дочь... У меня есть дочь...»

— Глаза у нее черные, немного цыганские, как у тебя... — говорила Аля, стоя над ним, — и улыбается она так же... и уже имеет собственное мнение... только вот не курит пока...

— Господи, какая пустая дурацкая жизнь... — прошептал он.

— Брось... — вздохнула Аля. — Брось, ничего еще не потеряно. Главное, что ты понял теперь.

— А ты, — хрипло выговорил Митя, не поднимая головы. — Ты ведь всегда была мудрой и сильной, да?

— Нет, не мудрой... — Румянец залил Алины щеки. — Сильной, может быть... Знаешь, Мить, я, наверное, очень ограниченная женщина. Мне всегда казалось, что есть только любовь. Единственная любовь, вокруг которой крутится весь мир. И это — не главное в жизни, это и есть сама жизнь, понимаешь?

Она опустилась рядом с ним на диван, прижалась к нему. И Митя ощутил, как под ее пальцами разглаживается его лоб, как уходит ноющая боль в висках.

— Но почему? Почему ты до сих пор не сказала? — проговорил он.

— Потому что я хотела, чтобы ты почувствовал... прожил хотя бы небольшой кусок моей судьбы... — спокойно произнесла Аля. — Знаешь, в жизни бывают такие моменты, когда остается одна тоска и все кажется совершенно бессмысленным... Теперь ты понимаешь меня... Может быть, теперь я по-настоящему стала тебе нужна?! Может быть, теперь тебе будет тяжело выгнать меня... нас... из своей жизни...

Митя соскользнул с дивана на пол, спрятал лицо в ее коленях. Аля гладила его жесткие темные с россыпью седины волосы, прижимала к себе такую некогда гордую, теперь же покорно опущенную голову.

— Я так сильно любила тебя... Мне казалось, что я никогда тебя не прощу и уже не соберу себя по частям... умру, и ты даже не вспомнишь обо мне... Пожалуй, мне стало вдруг все равно, да, все равно... Мне так хотелось, чтобы это потерянное, ненужное существование поскорее закончилось... мне было плохо, именно

физически плохо, и я даже радовалась этому... а оказалось все наоборот... Как это у вас в кино — от печали к радости?

Митя слушал ее и понимал, что самым главным достижением в его жизни были не слава и успех и даже не отдельно взятые сцены некоторых его произведений, вошедших теперь в историю мировой кинодраматургии, а вот это самое ценное и хрупкое счастье на земле. Его женщина. Невыносимо ныло в груди. Митя вдруг понял, что никогда, даже применив весь свой талант и мастерство, никогда не сможет описать и запечатлеть того, что происходило с ним сейчас. Здесь была и невыносимая тоска по утраченному, по той, другой Але, нежной и доверчивой, и жгучая, почти животная привязанность и благодарность к этой, новой, уверенной и успешной, к той, которой неизменно оборачиваются вслед.

— Прости! Прости! — через силу выговорил Митя.

— Я давно простила... — легко отозвалась Аля. — И я здесь, и уже никуда не уйду. Не уйду, даже если ты захочешь меня прогнать... вдруг...

Сад за окном веранды оделся в золото. На дорожке, ведущей к воротам, адели осыпавшиеся ягоды рябины. Но лето, отступившее сначала, теперь вернулось, подарило еще несколько ленивых солнечных дней. И в последний их вечер, в вечер Алиного отъезда во Францию, горячий воздух словно струился, наполняя дом запахом леса, еловой смолы с едва заметным привкусом дыма.

Вещи были уже собраны, коричневая дорожная сумка ждала своего часа на веранде. Аля не слишком тщательно ее собирала, ведь ехала ненадолго, на пару недель. Только уволиться с работы, оформить необходимые бумаги, забрать дочь и вернуться уже насовсем. Теперь ей никто не помешает, в этом Аля была уверена. Где-то впереди маячил тошнотворный образ Виталия Анатольевича, змеились посольские коридоры. Но теперь все это было ей не страшно. Сейчас, когда сумасшедшая, невозможная мечта ее жизни сбылась, ей не было никакого дела до бюрократических премудростей. Как-нибудь она справится. Выкрадет бумаги, если понадобится. К черту, не думать об этом сейчас.

Митя и Аля пили чай на веранде, любуясь догорающим за окном как будто бы воспаленным закатом. Специальный Глашин чай, отдающий пряными травами. Внизу, во дворе, засигналила машина.

Аля разглядела сквозь поредевшую листву сада светло-желтую «Волгу» у ворот и обернулась к Редникову.

– Такси! — Она подошла к Мите, прижалась лбом к его плечу. — Ехать пора.

Он обнял ее, прижал к себе, единственную, любимую.

– Опять уходишь? — прошептал он куда-то в ее пахнущие летними травами волосы. — Посиди еще немного. Ты заметила, какой закат над Москвой? Жаркий...

– Это к счастью, такой закат к счастью! — Она погладила мягкой ладонью его седеющие волосы. — Ночь сменит день, и снова наступит ночь, и будет точно такой же закат, и под твоим окном просигналит такси... Тыпустишь меня?

– Радость, радость моя... — Митя еще сильнее прижал ее к себе.

За окном снова раздался гудок. Митя с усилием разжал руки. Аля вдруг заторопилась, стала серьезной и сосредоточенной. Проверила документы, деньги, застегнула плащ, перекинула через плечо ремень сумки.

– Ну все, все, бегу. — Она быстро направилась к выходу и уже у дверей окинула его долгим взглядом. — Так я не прощаюсь.

– Я буду сидеть здесь и считать закаты, и если ты не вернешься...

– Я вернусь. Я всегда возвращаюсь, ты же знаешь, — усмехнулась она и вдруг добавила задумчиво: — А глаза у нее, как у тебя, точно.

Аля вышла. Митя слышал, как захлопнулась дверь, как простучали торопливые шаги по деревянному крыльцу. Через минуту за окном взревел мотор, и светло-желтая «Волга» исчезла за воротами.

Он поднялся, подошел к распахнутому окну. Рыжие кленовые листья казались еще ярче, свежее в дрожащем от уходящего дыхания лета воздухе. Темно-розовое закатное небо словно тянуло ввысь ветки деревьев, прощаясь с ними последним жаром, трепетом, последней ностальгией по ускользающему теплу, солнцу, свету.

Митя сел в старое плетеное кресло, закурил и принялся представлять себе путь Али. Вот ее машина уже вывернула из поселка, проехала перекресток, дальше за ней увязалась местная дворовая собака, одна из тех, что он подкармливал... Вот Аля подъезжает к аэропорту, открывает высокую стеклянную дверь. И чем она дальше, тем ближе день, когда он снова увидит ее. А там, в той далекой стране, маму ждет маленькая темноволосая девочка с такими же, как у него,

глазами... На кухне Глаша включила радио, и из-за неплотно прикрытой двери до Мити донеслась старая, с детства запомнившаяся мелодия: «Счастье мое... Ты всегда и повсюду со мной...»

В груди что-то дрогнуло. Митя улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Собственное тело почему-то стало вдруг легким, невесомым, словно он мог подняться над самим собой, освободиться от тяжести прожитого, увидеть и крохотную девчущку на руках у улыбающейся матери, и Никиту, взрослого, любимого всеми мужчину, главу семейства, отцовскую надежду и гордость.

«Не бывает бесцельно прожитой жизни, — пришло к нему спокойное понимание. — Все наши промахи и ошибки, все заблуждения и раскаяния — лишь шаги к какому-то далекому, пока скрытому высшему смыслу. Лишь ступеньки к той расплавленной солнцем вечности».

Папираса упала на дощатые перила и покатилась к карнизу, гонимая легким порывом ветра. На лицо Мити опустился багровый отблеск разливающегося над лесом заката.

И вот он бежит, широко расставив руки, по поросшему душистым клевером полю, маленький, легкий вихрастый мальчишка, а навстречу ему рысью несется лохматое чудище, радостное, лающее, виляющее всем своим огромным телом. Чудище бодает его, от чего Митя теряет равновесие и падает на спину, облизывает горячим шершавым языком и подталкивает своим овчаристым носом, дескать, ну что же ты разлегся, вставай, вставай, хозяин, пойдём скорее на реку. Митя ловко хватается маленькой ладошкой за шерстяную холку своего верного друга, поднимается на ноги, и они вдвоем движутся к неясной в августовской полуденной дреме серебрящейся кромке реки. Верный Тим идет медленно, стараясь ступать нога в ногу со своим маленьким богом, со своим обожаемым хозяином Митей. Оба упоительно счастливы...

Уходящий луч летнего солнца отразился в Митиных темных остановившихся глазах, скользнул по волевому подбородку, забрался за ворот расстегнутой рубахи и, наконец, совсем исчез, чтобы вернуться на следующий год, и через сто лет, и через тысячу.

Митя не шевелился.

Из-под тяжелой темно-коричневой занавески струился серый неяркий свет. По коридору уже шествовали туда и сюда проснувшиеся пассажиры. Поезд медленно тащился мимо одинаковых платформ подмосковных станций.

Я отложил книгу, прикрыл глаза, болевшие после бессонной ночи. Повесть была прочитана, и я чувствовал себя опустошенным. Конец... Итог не слишком удачной, не особенно счастливой судьбы. Но нет... Все сложилось так, как было суждено в этом справедливейшем из миров. Не разбейся некогда вдребезги моя семейная жизнь, не проиграй я в конце концов, как ни старался, не вышло бы никакого режиссера Редникова-младшего. Не было бы ни десятилетий успеха, ни народного признания, ни получения наград... Впрочем, спроси меня, согласился бы я поменять одно на другое... Нет, лучше не спрашивать. Все складывается, как было суждено, изменить ничего нельзя. Это так, и не вздумай спорить, иначе сойдешь с ума.

Не открывая глаз, я услышал, как поднялась со своей полки Софья и наклонилась надо мной:

– Никита Дмитриевич, вы спите?

Я притворился спящим, и девушка, погасив над моей головой всю ночь горевшую лампу, вышла в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. Щенок тоже пробудился в своем свернутом из простыни гнезде, завозился, отыскивая хозяйку, и, не обнаружив ее, требовательно заскулил.

Я свернулся на неудобной полке и думал о своей первой жене, которую много лет старался вычеркнуть из памяти и вдруг так неожиданно встретил на страницах книги. Александра, Аля... Хрупкая девушка, вывернувшая наизнанку мою жизнь... Мечтал когда-то завоевать ее, отобрать у всех, присвоить себе навсегда... А чего смог добиться? Только того, что ее голова лежала рядом на подушке, погруженная в закрытые для меня переживания.

Эти бесконечные ночи. Сотни одинаковых мучительных ночей — и в Москве, и в Париже. Лежишь, прикинувшись спящим, и слушаешь глубокое, прерывистое, надрывное дыхание почти незнакомой женщины... Нужно было, наверное, обнять ее, прижать к себе, успокоить, уговорить, забросать ласковыми словами, растормошить. Только ведь это было совершенно невозможно. Сделать это означало бы признать: тот, другой, победил. Снова победил, как ни старался я

переиграть его хотя бы в этот раз. Отец, этот баловень судьбы, этот убежденный державник, снова одержал победу. И какую победу — победу, о которой должно быть стыдно говорить вслух. Но даже этого сомнительного успеха у него было не отобрать.

Черт его знает, из чего рождаются в конце концов наши чувства! И вечное противоборство с отцом, и жгучая обида за мать, и зависть — да, признавайся, что уж теперь, зависть к народному признанию, — и изнуряющая страсть к женщине, выбравшей не тебя. А затем этот гордиев узел разрубается единым ударом — умирает отец. Умирает отец, и больше не с кем бороться, некому противостоять. И, кажется, теперь есть у тебя возможность переплюнуть его, хотя бы мертвого, перетянуть на себя его посмертную славу. И поначалу это тебе удастся. Только вот в один осенний день тебе приходится лететь из Европы в Питер и лишь оттуда поездом добираться до Москвы, чтобы скрыться от репортеров. И когда незнакомая журналистка спрашивает тебя по телефону: «Как вы оцениваете итоги Каннского кинофестиваля?», хочется выбросить проклятую трубку в окно. Умирает отец, и, казалось бы, больше никто не стоит между тобой и любимой женой. Да вот незадача, жена и не вспоминает о тебе, исчезает, растворяется во времени и пространстве, и не остается ничего другого, как через некоторое время оформить развод по причине многолетнего раздельного проживания с супругой.

В купе вернулась Софи, уже одетая в свое вчерашнее черное платье и замшевый пиджак. Тим встретил ее радостным лаем.

— Доброе утро, — лучезарно улыбнулась она.

При свете дня ее лицо показалось мне почти детским. А может быть, на подъезде к Москве Софья попросту решила отбросить свое не слишком удачное кокетство.

— Вы так и не спали всю ночь? Читали? — удивилась она.

— М-да... — кивнул я.

Софи вытащила из-под полки свою дорожную сумку, выставила ее в коридор, готовясь к выходу, и вернулась к разговору.

— Неужели такая занимательная книжка? — Она с сомнением приподняла бровь, взяла коричневый томик и нетерпеливо перелистала страницы. — Чем же она вас так увлекла?

— Не знаю... — Мне не хотелось отвечать, но Софи смотрела слишком уж пытливо. — Честно говоря, Софья, не знаю, как вам

объяснить... В это трудно поверить, но... Этот... — Я покосился на обложку: — Аль Брюно... Он, вероятно, журналист, папарацци... В общем, он раскопал где-то историю моей семьи. Я узнал себя в одном из героев, понимаете?

— О! — Софи округлила глаза и ошеломленно воззрилась на меня, машинально глядя по голове свернувшегося у нее на коленях овчаренка. — C'est impossible! [7]

— Вы, наверное, думаете, что я из ума выжил, — усмехнулся я.

— Да нет, думаю, вы просто ошиблись, — участливо затараторила девушка. — Ведь в литературе вообще ограниченное количество сюжетов. И, конечно, многие истории похожи друг на друга...

Поезд полз уже совсем медленно, а потом остановился. В коридоре загомонили пассажиры. Софи поднялась, спрятала Тима под пиджак. Я не торопился. Дождусь, пока вагон опустеет, и выйду, чтобы не попасть в толчею.

— Ну что же, давайте прощаться. — Девушка протянула мне ладонь.

Я легко сжал прохладные пальцы, и снова, как недавно ночью, какое-то смутное воспоминание кольнуло меня.

— До свидания. Очень приятно было познакомиться, — попрощалась Софи.

— До свидания, — кивнул я.

Девушка вышла, и я занялся сборами: вытащил из-под полки чемодан, запихнул в него взбудоражившую меня книгу.

За моей спиной вдруг снова прозвучал голос Софии:

— Извините, я решила все-таки вам сказать...

— Да? — Я обернулся.

Девушка, смущенно потупившись, стояла в дверях купе.

— Понимаете, я сначала не хотела... А то выйдет, будто я хвастаюсь... Дело в том, что эта история... Ну, я про вашу книжку... Эта история никак не может быть про вас. Потому что роман написала моя мама. Аль Брюно — это ее псевдоним. А мама большую часть жизни прожила во Франции, она по-русски и говорит-то с акцентом... конечно, она полностью все выдумала, у нее и друзей-то русских нет! Вот так. — Она с улыбкой развела руками и, прежде чем я успел ответить, снова скрылась в коридоре.

Я с размаху сел на полку. Да ведь это же значит... Я неожиданно вспомнил псевдонимы, которые мы когда-то выдумывали с Алей для ее публикаций во французских журналах — Ален Редон, Алан Левер... Она смеялась, сочиняя нелепые псевдофранцузские фамилии. Кто, кроме нее, мог бы так детально описать всю эту старую историю. Ну конечно же! Этот роман написала Аля, а Софи — ее дочь. Меня сбили с толку темные волосы. Ведь я еще спросил ее, когда погас свет. И глаза... Глаза у нее точно как у отца. Господи!

Я вскочил и кинулся за попутчицей, чтобы спросить, каково настоящее имя ее матери. Но Софи в вагоне уже не было. Я бросился за ней, спотыкаясь о выставленные баулы и чемоданы, протискиваясь между высыпавшими в коридор пассажирами. Уже у выхода путь мне преградила вчерашняя проводница.

— А я ведь вас вспомнила, — лукаво погрозила она мясистым пальцем с лиловым острым ногтем. — И не актер вы вовсе, а режиссер. Редников, правильно? Я как раз перед отправлением новости смотрела, сюжет про Каннский кинофестиваль...

— Да-да, — рассеянно подтвердил я, пытаюсь пронырнуть под локтем неотступной Брунгильды.

Я увидел на перроне стриженую голову Софьи. Девушка оглядывалась по сторонам, прижимая к груди щенка, и вдруг вскинула вверх руку и радостно замахала кому-то. К ней подошла стройная женщина в белом брючном костюме и темных очках, они обнялись. Софи передала ей щенка, и женщина принялась восторженно тискать его. Тим вытянул шею и лизнул новую знакомую в щеку. Та засмеялась и сдвинула темные очки на лоб. И ночное смутное ощущение повтора вдруг вернулось с новой силой. Мне показалось, что в незнакомке в белом костюме я узнал Алю. Конечно, это ведь ее золотистые волосы, ее высокие скулы и дымчатые глаза. Ее улыбка... Мое проклятие, мой крах, насмешливая гримаса судьбы...

Мать и дочь двинулись вперед по перрону. Я рванул за ними, грубо отпихнув проводницу.

— Вот хам-то, а... — взвилась она за моей спиной. — А еще интеллигенция, блин!

Но я уже не слышал.

Меня неожиданно ослепила фотовспышка. Перед носом вырос микрофон, и незнакомый голос надсадно заверещал в ухо:

– Никита Дмитриевич, что вы можете сказать об итогах Каннского кинофестиваля? Почему ваша картина, которой прочили мировой успех, не получила ни одной премии?

Значит, план не сработал. Меня все же выследили, несмотря на то что я не полетел прямо в Москву вместе с продюсером, а сделал крюк через Питер. Слабая попытка скрыться от навязчивых расспросов, сохранить в тайне если не самый позорный провал, то хотя бы свои чувства.

Аля и Софи удалялись. Я оттолкнул парня с фотоаппаратом, отмахнулся от бойкой журналистки и бросился следом.

Я бежал, не в силах совладать с колотящимся о ребра сердцем, не замечая сыпавшегося с неба мелкого дождя. Время как будто растянулось, каждое мгновение казалось маленькой вечностью. Я задыхался в липком влажном тумане, нетерпеливо отбиваясь от тех, кто шел мне навстречу, и не слышал, как они раздраженно кричат мне вслед.

В конце концов все лица и пестрые краски вокзала слились для меня в одно разгневанное и размытое пятно — и единственным источником света впереди стало белое видение, почти растворившееся в дымке паровозной гари.

Я бежал все быстрее, чувствуя, что загоняю себя в тупик, в какую-то кошмарную ловушку собственного больного воображения, вызванную, скорее всего, и бессонной ночью, и непостижимым для меня ощущением дежавю, которое возникло с того самого момента, как я зашел в вагон поезда. Я хватал воздух ртом, понимая, что такой бег для меня почти что губителен — помимо прочего, я унаследовал от отца еще и слабое сердце. Но я упорно продолжал преследовать женщину-видение, понимая, что все это уже было тогда, давно, в услужливо похороненных моей натренированной памятью воспоминаниях. Туман, спешащая куда-то толпа, девушка в светлом плаще...

Я догнал их, тронул женщину за плечо и позвал:

– Аля!

Она обернулась. Лицо без возраста. Ухоженная, будто пергаментная кожа. Черные стрелки над глазами, проведенные поверх сетки мелких морщинок. Неестественно гладкая шея — вероятно, результат дорогостоящих операций.

–Простите?

И я вдруг понял, что не могу различить, она ли это. Казалось бы, столько раз видел ее в воспоминаниях, знал каждую родинку на ее лице, каждый изгиб ее всегда желанного тела. Теперь же память словно померкла, и я не мог понять, кто передо мной — постаревшая Аля или незнакомая чужая женщина. Будто бы подсознание, заботясь обо мне, решило выключиться на время. Это лицо — странное, чужое, но в то же время будто бы знакомое... Этот силуэт в клочьями висящем тумане... Проклятая сумасшедшая ночь, чудовищная книга, повисшая в воздухе безнадежность... Неужели я в самом деле схожу с ума?

До меня дошло, что я уже несколько секунд молча разглядываю незнакомку. На меня сердито уставилась Софи.

–Извините, я обознался, — выдавил наконец я.

И в ту же секунду, еще не закончив говорить, понял, что женщина меня узнала. Губы ее сложились в приветливую и удивленную улыбку, она протянула руку, но, услышав мои слова, ее отдернула.

–Бывает, — произнесла она, нервно поправив волосы, подхватила под руку дочь, и они быстро двинулись по перрону к зданию вокзала.

Теперь я был уже убежден, что узнал ее. Узнал, только, как всегда, слишком поздно. Через минуту я уже не мог различить светлый силуэт в вокзальной сутолоке. Сердце встало комом в горле, я не мог дышать и обессиленно опустился на заплыванную вокзальную лавку... Она ли это? Или это бред, видение, результат ночи воспоминаний, обычный мучительный сон?.. Может, и вправду я устал, заработался, переволновался на фестивале и все это мне просто приснилось?

...С тех пор как она ушла, я несколько лет подряд просыпался, не понимая, с кем я и где, ощущая на губах любимое имя... В груди снова что-то кольнуло. Я прикрыл глаза, пытаюсь справиться с накатившей болью.

Перед лицом опять щелкнула вспышка. Увидев снова фотокорреспондента, караулившего меня у вагона, я с остервенением поднялся, желая только одного — избавиться от него, и уже размахнулся, чтобы выбить у того из рук массивный фотоаппарат, как вдруг сник, будто ярость моментально вымотала меня, махнул рукой и побрел к зданию вокзала. Наверное, парня похвалят за хороший кадр, подпись подберут соответствующую — «Закат известности» или что-

то в этом роде. Черт с ним в самом деле, пусть сдерет с редактора лишнюю пятихатку.

notes

Примечания

1

Да здравствует Франция! (*фр.*)

2

Чем вы занимаетесь? (фр.)

3

Это великолепно! (фр.)

4

Да? (фр.)

5

Я немного испугалась. (*фр.*)

Ее обрели... (Цитата из стихотворения А. Рембо.) (*фр.*)

7

Это невозможно (*фр.*).